

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

ISSN 0131-6044
9 770131 604002 >

РОДИНА ГАЗЕТА

2017 №13

Георгий Пряхин / Личная версия

90
лет





ПРЯХИН Георгий Владимирович

родился в 1947 году в селе Николо-Александровском Ставропольского края. Рано остался без родителей и воспитывался в школе-интернате № 2 г. Буденновска. Служил в армии, окончил факультет журналистики МГУ им. М. Ломоносова. Работал в различных газетах, в т.ч. в «Комсомольской правде», где дослужился от собственного корреспондента до заместителя главного редактора. Был политическим обозревателем Гостелерадио СССР, заместителем председателя Гостелерадио СССР. С 1988 по 1990 г. работал заместителем заведующего отделом ЦК КПСС, а затем — консультантом Президента СССР М.С. Горбачева.

В русской литературе имя Георгия Пряхина появилось в конце 70-х — начале 80-х годов. Его первая повесть «Интернат» была сразу же опубликована в самом престижном журнале тех лет «Новый мир» с предисловием Чингиза Айтматова. Когда повесть, посвященная детворе послевоенных лет, вышла в издательстве «Молодая гвардия» отдельной книжкой, она была признана лучшей книгой молодого автора за год.

Его перу принадлежат несколько книг. Г. Пряхин публиковался также в Италии, Болгарии, Словакии, США, Англии, Ирландии, Эстонии, Украине, Белоруссии, Японии и других странах. Награждён Всероссийской литературной премией имени Александра Грина и премией имени Валентина Катаева. Академик Академии российской словесности.

В настоящее время — директор издательства «Художественная литература».

К 90-летию «Роман-газеты»

КРАСНАЯ ПОЛКА РУССКОЙ ПРОЗЫ

ПИСАТЕЛИ-ФРОНТОВИКИ НА СТРАНИЦАХ «РОМАН-ГАЗЕТЫ»



Начало нового века для нашего журнала отмечено приливом ярких литературных имен, но и стало временем невосполнимых утрат.

Печален мартиролог уходящего в вечность поколения наших дорогих авторов, участников Великой Отечественной войны:

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович (1924–2001)
НОСОВ Евгений Иванович (1925–2002)
БОГОМОЛОВ Владимир Осипович (1926–2003)
КОЖУХОВА Ольга Константиновна (1922–2007)
АЛЕКСЕЕВ Михаил Николаевич (1918–2007)
КАРПОВ Владимир Васильевич (1922–2010)

ДОРИЗО Николай Константинович (1923–2011)
НАУМОВ Николай Фёдорович (1921–2012)
КАЛАШНИКОВ Михаил Тимофеевич (1919–2013)
ШУРТАКОВ Семён Михайлович (1918–2014)
ЖУКОВ Дмитрий Анатольевич (1927–2015)
ЛОБАНОВ Михаил Петрович (1925–2016)...

Окончание см. на 3 стр. обложки.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

Редакционная
коллегия:

Дмитрий Белюкин

Юрий Бондарев

Семен Борзунов

Алексей Варламов

Анатолий Заболоцкий

Юрий Коннов

Владимир Личутин

Юрий Поляков

Ответственный
редактор

Елена Русакова

В оформлении
использована

картина

А. М. Герасимова

«И. В. Сталин

и К. Е. Ворошилов

в Кремле» (1938)

Права
на использование
товарного знака

«Роман-газета»

принадлежат

ООО «Роман-газета»

© 000 «Роман-газета», 2017

Все права защищены

Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи

и через Интернет:

www.gazety.ru

Подписные
индексы издания:

в каталоге агентства
«Роспечать»

70782 на полугодие,
71752 на год;

в объединенном каталоге
«Пресса России» 38915
на полугодие;

в электронном каталоге
«Почта России»
P1526 на полугодие

Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

2017 №13 /1785/ Основана в 1927 г.

Георгий Пряхин

Личная версия

Рассказы

Академик Курчатов едет к Лаврентию Берии

Академик Игорь Курчатов ехал на встречу с Лаврентием Берией.

Ехал не по своей воле — мало кто вообще встречался с Берией по своей воле. Даже Сталин, похоже, общался с ним через силу, по необходимости, по-русски это называется — «душа не налегает». У этого монстра душа не налегала, не прилегала ни к кому из ближайшего окружения — чем дальше люди отстояли от него, тем с большей лёгкостью он мог с ними общаться.

Лаврентий вызвал академика. Позвонил с утра и огорошил:

— Давненько мы с тобой, Игорь, чайку не пили...

У академика тоскливо заныло под ложечкой. Дело даже не в том, что чай они с Лаврентием Павловичем пили не далее как третьего дня, правда, не на Лубянке, куда Курчатов являться не любил, а в совминовском кабинете: наверное, Берия его выбрал когда-то сам — все окна, даже не будучи зашторенными, упирались в стену. Нет, Курчатов Лаврентия не боялся: на одной хватке, даже такой сумасшедшей, как у этого медоточивого и тонкогубого менгрельского Мефистофеля, далеко не уедешь. Нужно ещё серое вещество, субстанция аморфная, *ничтожная*, но именно вокруг неё и вынуждена неистовствовать сервильно такая вот сумасшедшая мускульная энергия. На данном историческом отрезке — исполнения спецзадания высшего государственного значения — они с Берией — сиамские близнецы (Курчатова передёргивает): отсекут одного — сгинет и другой.

Это в равной степени (Курчатова передёргивает ещё раз) относится к каждому из них двоих.

Нет. Просто академик только что собрался попить чаю со своей женой. В кои веки в воскресенье оказался дома и даже на даче. Вон прислуга уже и столик с веранды под сирень вынесла. И даже кулич, не спросясь у хозяев, на вышитой миткалевой салфеточке водрузила. Говорят, Пасха...

— Ну, не торопись. Разговейся, — хохотнул вездесущий оборотень. — А пообедаем у меня. С гусём — как и положено православным атеистам. Жду в два часа. Дома... Разговор есть, — сухо закончил Мефистофель.

Адрес не назвал — этот адрес и так знала вся Москва.

И вот Курчатов уже едет по пустынной Москве. Сидит, родовито дородный и рослый, на заднем сиденье. На переднем — шоффёр и охранник, две почти сросшиеся, ватином подбитые спины. Тоже, бляхамуха, сиамские близнецы. Они отгорожены от академика пуленепробиваемым стеклом. Где-то позади маячит ещё и машина сопровождения — там уже ребятки не с маузерами, а с автоматами. Господи, неужели до скончания дней теперь жить ему вот так — голым в толпе?

Что ёщё там за разговор? — крепко, больно потянул себя за редкую, но всё ёщё сажисто-чёрную, схимника, длинную бороду.

Москву вымыли. Вообще-то, к майским пролетарским праздникам, а получилось как бы и к Пасхе тоже. Отражения витрин бежали по вымытым, с хлоркою, зеркальным округлостям «Зима».

Вот и угол Вспольного и... как его, — Воровского. Никак не привыкнешь. «Поварская» куда сподручнее. Как это Вспольный до сих пор не переименовали? — наверное, самое беспартийное наименование во всей Москве. Когда-то долговязый студент Курчатов гулял по здешним заспанным переулкам со своей будущей женой.

Дома почти не видать. Он со всех сторон обнесён стеною наподобие восточного глиняного дувала. Студент Курчатов вообще-то тогда, в юности, этих глиняных застенков тут не видел. А может, просто смотрел, не отрываясь, в другую, нежно светящуюся сторону.

Как только машины, приседая, подрулили к глухим кованым воротам, те со странно морозным, в такую-то майскую теплынь, лязгом открылись. Раззявились, жёстко сомкнувшись после глубокого глотка.

Двор оказался неожиданно — для центра Москвы — просторным.

Курчатов очутился здесь впервые.

Гостеприимный хозяин уже встречал его на крыльце. Курчатов в тёмном костюме и в галстуке. Берия же в мягких фланелевых брюках и в байковой кофте поверх клетчатой спортивной рубахи.

Крыльце, обратил внимание Курчатов, деревянное, узорчатое, грубо приспособленное к кирпично-му дому.

Обнялись.

— Проходи, дарагой, будь как дома! — нарочно нажимая на грузинский акцент, который, вообще-то, был ему почти не свойственен, увлёк, приобнимая, хозяин гостя в глубину особняка.

Они расположились сперва в гостиной. Покойные плюшевые кресла, пёстрые восточные ткани, мягкий послеполуденный свет, сквозивший сквозь гардины, — особняк, расположенный вообще-то рядом с гудящим Садовым кольцом, казался погруженным в благословенную толщу винного бурдюка.

Они выпили чего-то, что было уже приготовлено на низеньком, тоже восточного стиля, сдержанно инкрустированном столе. Прислуживала полная, томная, но какая-то совершенно неслышная, невесомая на ногу женщина грузинского толка. Поскольку её не представили, Курчатов понял: не жена. Впрочем, жену Берии он смутно помнил: раза два встречались на приёмах в Кремле.

Жена у Берии — *пава*. Помнились влажные, как будто только-только что распустившиеся, раскосые чёрные глаза. Если бывают чёрные лилии, то это про них. Кажется, даже запах, дорогой, иноземный и влекущий, шёл именно от них, только что — прямо к приёму — распустившихся, а не от большого, текущего тела.

«Гуляет, стервец, — вспомнил московские байки Курчатов. — И как можно гулять от такой бабы?

И как же, подлец, находит время? — в таком-то бешеном цейтноте! — почти что с завистью подумал академик, а ведь он на десяток лет моложе своего вальяжного визави.

Говорят, жена потому и не бывает в этом особняке, предпочитает жить на даче, за городом — чтобы не нарваться случайно на очередную мужину пассию из простых, как это и водится у революционеров со стажем всех мастей и национальностей.

После перебрались во двор. Здесь тоже накрыт красивый выносной стол на двоих. Никакой стены, никакого глиняного дувала вокруг разлапистого одноэтажного дома отсюда, изнутри, не просматривалось. Стена вся увита плющом, вдоль неё стоят кадки с вечнозелёными — видимо, непосредственно из Грузии — растениями и растут мощные, древовидные кусты, под которыми бесшумно протекает, извиваясь, взятый в бетон арык.

Несколько плодовых деревьев, в основном вишня и алыча, бурно и вразнобой цветут там и сям.

Цветёт в Тбилиси алыча —
Не для Лаврентий Палыча.
А для Семён Михалыча
И — для Климент Ефремыча...

До таких частушек было ещё так далеко, что они вообще казались немыслимыми. Богохульными.

Курчатов подумал: зачем ему, Лаврентию, дача — тут и так рай за Садовым кольцом.

— Видишь, у нас тоже сирень имеется, — хохотнул хозяин, пригнув к себе роскошное, как много-звёздное небо, соцветие и шумно, вкусно понюхав его.

У Курчатова опять что-то подспудно тенькнуло: и это знает, пролаза! Про чаепитие с женой, что прошло из-за этого утреннего звонка скомканно, не полудиски. Впрочем, тут, чтобы угадать, много ума и не

надо — сирень сегодня буйствует на каждой подмосковной даче.

— Прошу!

Стол грузинский, с обилием зелени и жареного мяса, аромат которого, наверное, переваливал, переливался через восточный дувал вместе с майским дурманом персидской сирени. И дурманил, пожалуй, редких прохожих — дом, все окна которого на-глухо, с походом, перекрыты стеной, спасливо обходили даже те, кто не знал, что за жилем заточён в нём — больше, чем сама сирень: Москва всё ещё военному недоедала.

Недоедала Москва, страна же откровенно голодаала.

Пили сперва «Мукузани», потом пошло послаще, погуще: «Киндзмараули», «Хванчкара», но всё пока строго по привычной, сталинской линейке.

Прислуживала всё та же дама в белоснежной, на-сахаренной наколке и в таком же переднике, повязанном, правда, поверх тёмного, тяжёлого, не обслуги, бархатного платья, что делало даму ещё больше похожей на зрелую виноградную гроздь, нежно испотевающую хмельным внутренним соком.

Курчатов давно заметил топтунов, стоявших, оказывается, не только по внешнему периметру двора, но и по внутреннему. Да и блюда из кухни, пристроенной к особняку, выносили молодцы хоть и в накрахмаленных фартуках и даже в поварских колпаках на стрижёных головах, но с совершенно очевидною выпрявкою рамен. Однако дама ловко перехватывала их на полпути, и к столу — действительно под рясно, чудесно и тяжко цветущей сиренью (тоже клейко обтянута бархатом ранних, ещё пахучих листьев) — никто, кроме неё, не подходил.

Небо над Москвою стояло такое, словно его только что страстно, с треском разорвали, и из-под него выглянуло нечто совершенно исподнее, незаношенное, впервые надёванное.

Вроде как сама плащаница бирюзово замрёяла над Москвой.

Курчатова вино не брало — возможно, потому что он не так уж падок до него. Ему день и ночь приходится пребывать в трезвости, и «старых дрожжей», что втихомолку бродят в крови у мужчин, дожидаясь долива, в нём отродясь не бывало.

Но скорее всё же по другой причине.

Лаврентий тянул резину. Пил он хорошо, плотно, так же с удовольствием, не вприглядку, закусывал, зачастую ловко и чисто обходясь одними руками там, где Курчатов уныло ковырялся вилкой-ножом. Сорил анекдотами, шутками, подчас, не называя, незлобиво пересмешничал *Самого* (вот у кого акцент действительно не вытравился до конца дней, и пародировать его было легче лёгкого, да кто же мог решиться на это?).

Но к делу не приступал — и впрямь не для этого же роскошного воскресного грузинского обеда позвал сердь бела дня директора самой секретной в Союзе лаборатории номер два? (При том, что номера один вообще не существовало. Номер, цифру дали, чтобы никаким там прилагательным-существительным не обмолвиться, не намекнуть ненароком на существование *лабораторных занятий*).

Дама уже поставила фрукты и несла, прижимая, как двойняшек к двойной же груди, способной утолить жажду — жизни — и вполне половозрелых жаждущих, бутылки с коньяком, когда Лаврентий, внимательно-таки сопровождавший взглядом это томное, урожайное шествие дароносицы, негромко и неожиданно трезво бросил ей:

— Передохни!

Мускатная виноградная гроздь, формой и рясностью напоминающая пышную гроздь персидской сирени, послушно и мягко удалилась.

Коньяк — это был «Греми» — Лаврентий разливал сам.

Курчатов напрягся.

— Как будем испытывать? — спросил Лаврентий, подымая коньячный бокал на уровень глаз и глядя, сквозь очки и бокал, Курчатову прямо в глаза.

Игорь Васильевич сразу понял, о чём речь — да они, собственно говоря, вот уже два года только об этом и беседуют с глазу на глаз с Лаврентием.

— Как и договаривались, — тоже неожиданно трезво ответил Курчатов, — на известном полигоне как только *изделие* будет готово...

— Я не о том, — поморщился Лаврентий. — Понастоящему будем испытывать или вприглядку?

— Понастоящему. Там уже строят, насколько я знаю, казармы, бетонные укрепления, объекты гражданского назначения...

— А люди? — жёстко и коротко спросил Лаврентий, одним махом опустив бокал. — Люди?

Рука у Курчатова дрогнула, и он, не допив, поставил хрусталь на каланью камчатную скатерть:

— Люди? Там планируются животные: коровы, овцы, свиньи...

— Свиньи, — криво усмехнулся Берия. — Говорят, они действительно ближе всех стоят к нашему брату. И всё же, Игорь, мы ведь должны будем лечить людей, а не свиней, после ядерного удара предполагаемого противника. А он, удар, убеждён, рано или поздно будет, — стукнул ребром вообще-то мягкой ладони по столешнице. — Мы же должны к тому времени иметь опыт? Материал для медицины да и для фундаментальной, теоретической науки? А?

Курчатов, склонив голову, уткнулся бородою в столешницу.

— ...Да и знать реальное воздействие. Или одни свиньями хочешь отделаться? — вновь усмехнулся

ся Лаврентий, не спуская с собеседника тёмных и влажных глаз. — ...Оденем в противогазы, в костюмы химзащиты и — какой там ещё защиты?..

— Не выдержат, — тихо произнёс Курчатов.

— ...Поставим на максимально безопасное расстояние, — продолжает Берия. — Ну, километра на три. Зароем в землю, в окопы полного профиля, в бетонные укрепления, — давал понять, что говорит вообще-то маршал, хотя и не служивший ни одного дня на действительной. — Заодно и проверим — и амуницию, и укрытия — на будущее. А?..

Курчатов отмолчался.

— ...Война, Игорь, будет серьёзная. Серьёзнее той, что прошла, — продолжал Берия, допивая «Греми». — И готовиться к ней надо всерьёз, не понарошку. Тем более что живой массой, пушечным мясом мы её уже не выиграем — у нас просто этой самой массы, мяса уже нету. Одна свинина — и той в обрез.

Разговор принимал опасный оборот: намёк вроде на Георгия Жукова, но академик знал, как болезненно реагирует Сталин на подобные намёки: мол, завалили немца собственными, русскими трупами. Линия проводится другая: победил полководческий гений — известно, чей. Не Жукова же, разумеется. Сталин, как никто другой в истории Отечества, бережёт русский народ — заглавный тост на приёме в Кремле в честь Победы провозгласил за него — за русский народ. Который всё понимает, всё выносит и всё прощает... Русский народ — Курчатов сцепил на коленях крупные, крестьянские кулаки так, что пальцы хрустнули. Его, народа, и впрямь осталось — кот наплакал. На донышке.

— Вы же учёный, — негромко, но настойчиво басил Берия. — А эксперимент — движитель науки, даже фундаментальной. Когда ещё представится такая возможность?..

Наверное, во всей огромной стране сегодня реальную силу *гриба* представлял только Курчатов. Ну, и разговор — да ещё в пасхальный день...

— Будь мужественен, — продолжал вынимать душу Берия. — Сегодня ты встаёшь в истории в один ряд с великими. Не политиками, — усмехнулся Мефистофель, — а пророками. Всего человечества, а не отдельной, хотя и лучшей, его части. Будь на высоте своей миссии.

Курчатов поднял усталые от бессонницы глаза.

— ...Я всё равно буду убеждать *Самого* в необходимости испытаний с живой массой. С солдатами. А не только с манекенами. С хорошо экипированными, надёжно защищёнными, укрытыми, в несколько эшелонов выстроенными... Солдатами...

Смешка не было, но Курчатову он чудился. Неужели даже он, Берия, всё схватывавший буквально на лету, не понимает, что защиты сегодня — нету? Издевается?

— ...Но хотел бы, чтобы перед *Ним* мы с тобою, Игорь, выступали в едином ключе. Ты же понимаешь: *Он* — человек *реальный*. Не кисейная барышня. И даже лучше нас с тобою понимает, что за война разразится завтра. Ты же знаешь: он сам дал американцам утечку о нашем с тобою *изделии*, когда его у нас ещё и в помине не было, чтобы тем самым приостановить, в замешательство ввести уже вошедших в раж американцев. Чтобы паузу, время выиграть. И теперь, погоди, из нашего с тобою опыта, — Он будет выжимать всё. Дотла. Ему нужен серьёзный эксперимент. С которым и утечки давать не придётся: он, эксперимент, заявит о себе сам. На всю Ивановскую...

Берия отхлебнул из своего бокала, а второй подвинул поближе к Курчатову. Тот взял его.

— Когда у вас разговор?

— Завтра. Он наверняка позовёт тебя к себе. Жди вызова.

— Хорошо, — глухо произнёс академик и залпом выпил.

Не на много он, молодой, но крепко изношенный да, наверное, ещё и облучённый за годы, когда вынашивал и рожал *изделие*, переживёт Берию — всего-то на семь лет.

Потихонечку, но холодало.

— Кофе пойдём пить в дом, — предложил Берия.

Щёлкнул пальцами, и пьянящая, сбитная виноградная кисть тут же обозначилась над столом.

— Принеси французского, — поморщившись, повёл бровью Мефистофель.

Курчатов подумал про кофе, но принесли коньяк. Это уже отступление от линии.

— Мы с тобою, конечно, патриоты, — пробормотал Берия, бережно принимая бутыль «Корвуазье», — но — за что сражались, чёрт побери?

И налил в спешно подвинутые дамой новые хрустальные бокалы.

Они выпили. «Никакой разницы, — подумал Курчатов, потянувшись за свисавшей с вазы черешнею. — Гадость — она и есть гадость. Без национальности и классовой принадлежности».

— Пойдём, — тронул его за плечо Лаврентий. — Мне как раз свежие сигары привезли. Гаванские...

— Спасибо, Лаврентий Павлович, — отказался академик. — Я — поеду. Если завтра возможен разговор, надо ведь подготовиться.

— А мне кажется, я тебя уже подготовил, — перебил его Берия, внимательно вглядываясь в собеседника.

Курчатов сделал вид, что не слышал.

— И потом, вы же сами сказали: могут звонить. Лучше, если домой, по вчёе...

— Он знает, что ты у меня. А у меня, как ты догадываешься, есть и вчёе, и эсвэчэ, и чёрт знает что...

Вон оно как! Знает... Только сейчас академик понял, что дело уже решено. В шляпе. Курчатов продолжительно посмотрел на хозяина и протянул большую, лопатой, крестьянскую руку:

— Спасибо. Давно я так не обедал. А уж напи-и-и-лся... — немного дурашливо, нарочито протянул.

— Было бы предложено.

Берия пожал ему руку и, облапив, повёл к машине, уже вылезавшей, как длинный бронированный червь, из гаража.

Автомобиль сопровождения ждал за воротами.

Академик опять тяжело откинулся на сиденье и, сцепив ладони, сложил их, как покойник, на животе.

Денёк! Воскресение Христово, называется.

Весенние сумерки нежным саваном пеленали готовящуюся к понедельнику, к будням, Москву. Такие — к ране любой прикоснется, и рана спрячется внутрь. Со стороны посмотришь — вроде бы зажило. Заголось. А что там внутри, одна только плащаница и знает.

Курчатов смыгнул набрякшие веки.

Некоторые так даже перегибались в три погибели и даже губы смачно вытягивали, как будто не чокаться с нею лезли, а сразу — целоваться.

Сын, сидевший в возглавии стола, один, — матери указали место в середине, — не чокнулся с нею, а просто ещё раз приподнял бокал и ещё раз взглянул на неё.

Сын, зорко отметила мать, выгодно выделялся среди остальных. Соразмерный, с правильными, твёрдыми чертами лица, с короткими, но уверенными, не бабыми движениями. Конечно, он постарел — она так давно не видела его! Конечно, на портретах он совсем другой. Фотографы, а тем более художники или те, кто руководит фотографами, и художниками, как бы заново, не доверяя ей и исправляя её промашки, родили его. Именно такого, какого и требовал, и видел, по их мнению, в своём воображении народ. Она рожала его, единственного выжившего своего, трудно рожала собственною слабою плотью, они же родили его — резцом. Сразу — каменным.

Свой, живой, нравится ей больше. С шершавой, ноздреватой кожей, с жёсткой, не подкрашенной рыжиной, из-за которой его упрямо приписывают к осетинам, как бы намекая мимоходом и на её супружескую неверность, хотя видит Бог: монахини где-нибудь в горах Сванетии, Христовы невесты, и те, наверное, менее блестяще в верности своему небесному супругу, чем была она, Екатерина, своему земному законному пьянице Виссариону. С лысинкой, что уже вьёт гнездо в его начёсанных порыжелых волосах — знала бы она, что ни одному оператору не дано заходить к вождю с тыла! — с этими набрякшими подсумками под глазами... Да, мускатная спелость глаз, что так чарует её, желтизной кидает уже и на впалые щёки. Гепатит? И больная кисть, заметила она, стала ещё тоньше, ещё суще, из-за чего и вся пясть уже похожа на жёлтую и жалкую, в черепице, куриную лапку.

«Куриная лапка... Прикуси язык! — очнулась старуха. — Придёт же в голову такая чертовщина. Свят-свят!» Ей и так чудится, что угодила она на очень странную вечерю, на которой если и есть кто, не считая её, с человеческим лицом, так это он. Один — её сын. Ну вот, взять хотя бы вот этого, прямо супротив неё. Квашня квашнёю — сдери с него костюм и галстук, он так и располнётся бельмом, опарою по столу. Сгребай пригоршнями, начиная с улыбки — она, угодливая, и впрямь *пресмыкательная*, так и поползёт, наверное, впереди него самого аж туда, на тот край стола, где засахаренным божком восседает её сынок.

Не любит она таких вот листивых, узкогубых улыбок — внутри них всегда таятся мелкие, змеиные же зубы.

Екатерина Джугашвили встречается с сыном своим Иосифом

«Господи, ну и рожи!» — подумала Екатерина, осторожно осваиваясь за столом.

И сама же испугалась своей дерзости. И даже рот свой, и так уже схваченный старостью крупными, сапожными стежками-щипками, прикрыла концом цветастого шёлкового платка, которым на кавказский манер покрыта её голова.

Мысли, конечно, сами по себе, нежданчиками, наружу не выскакивают, но чего не бывает в старости? — причём не только с мыслями. И она покрепче прижала платок к губам и даже попробовала его на вкус. Платок был нежен и ещё имел шоколадный привкус — только вчера его подарил ей сын.

Кажется, никто не заметил мысленной её выходки. Один только сын мельком взглянул на неё своим мускатным совиным глазом — на Москве уже шептались: мол, раньше в Кремле держали сокола, а теперь поселился там сыр и вся страна впала в его, ночной птицы, бессонницу, — поднимая тяжёлый гранёный готический бокал:

— Выпьем за всех наших матерей! Мы так редко видим их, а ещё реже, басурманы, пьём за их здоровье. Мамы наши, живите тысячу лет!

И все потянулись с бокалами сперва к нему, а после вспомнили и о ней.

Или этот, рядом с нею, чёрный истукан, идол, с волосатыми ручищами не то предметного кожемяки, не то просто душегуба. Ишь, — опасливо косится она, — выложил на скатерть пудовые свои. Такими кулаками сваи заколачивать или чужие окна в полночь высаживать. Говорят, главный по Москве — как же он, интересно, при таких-то кулачицах, со всякой там профессурой-макулатурой общается?

А в самом дальнем углу, с краю, последушком, сдачей даже не сидит, а, кажется, по-половому стоит — настолько мал росточком: присядет на венский стул и скроется с головою под столешницей — примостился совсем уже огрызочек. Недомерок. Ни к вилке, ни к ножу ни разу не притронулся — глазами только жадно ест одного и того же: Господа во главе стола.

Этот — из самых опасных. Из тех, кто по ночам орудует не ножом, а — шилом.

Не нравится ей сыновья бражка. Свора. Откуда только понасобирал он их? Все как из бродячего шапито. Ни одного нормального. Кроме него самого. Не надо бы ему, поразительно трезвому, так беззаботно восседать на этом пьяном троне.

«Да, в отличие от остальных, сын умеет пить. И дело не только в кавказском происхождении — за столом есть и погорбоносее него. Просто было в кого уродиться, — горько усмехнулась про себя старуха.

Не надо б, не надо бы ему так сидеть — как другой, тоже на тайной вечере. Не возносись, не возносишь, сынок, — не вознесён будешь.

Господи, да что со мной? — вновь мысленно прикусила язык старуха. — В грех впадаю. Страсть — не радость», — сложила пальцы щепотью и тайком, вроде как платок поправила, перекрестила собственный в пучочек собранный рот. Хотя перекрестить хотелось, не тайным, а полным, прилюдным крестом — сына.

Господи, спаси и сохрани его. И от этих, собутыльников, — тоже.

— Здоровье Генерального! — воскликнул некто, сидевший наискосок от старушки. — Здоровье Генерального! — повторил и даже вскочил с места, поднимая над головою почему-то не бокал и не стакан даже, а сразу — хрустальный рог — где только взял его, под столом, между коленями, что ли, зажимал? — Потому что здоровье Генерального — это здоровье всей нашей великой нации!

Человек верещал с таким сильным менгрельским акцентом, что непонятно было, какую всё-таки великую нацию имеет он в виду.

Сын заметно поморщился.

— До дна! — заторопился тостующий.

Зазвенел хрусталь, все, кроме сына и матери, тоже поднялись.

Старуха с неподдельным интересом следила за тем, с хрустальным рогом. Даже не за ним, а за его

кадыком. Видно, что пил через силу — кадык заходился в судорогах. Осилил — аж пот на лбу выступил. И тут же втихомолку передал рог, как непосильную ношу, в струнку вытянувшемуся за его спиной офицанту.

«Дорого же им даётся его здоровье! — подумала мать. — Так и своё потерять можно». Но додумать не успела: сосед слева, приземистый и широколобый, тронул её за локоть и, заикаясь, шепнул:

— С-с-к-кажите с-с-слово...

Сын тоже сделал знак поджатой, увечной рукой.

— Гаумарджос! — негромко, не поднимаясь, произнесла старуха и, ни с кем не чокаясь, пригубила из бокала.

Все захлопали, зашумели, вновь обращаясь лицами не к ней, а к сыну. Она же, воспользовавшись суматохой, подобрала юбку, соскользнула со стула и вышла.

Она устала. У неё разболелась голова.

Кеке прошла в комнату, которую ей показали с утра, и, сняв только ботинки на высокой шнурковке, прилегла, не разбирая её, на пышно взбитую кровать. И перины, и подушки взбиты явно женской и умелой рукой. Кто стелет ему самому? Ясно, не жена. Она здесь, в Волынском, вообще, кажется, не живёт. Ни жены, ни детей... Они, как поняла старуха, отселены в другое место. Неподалёку, по этой же дороге, но — отселены. Собственно говоря, и её, Екатерину, неделю назад, по приезде в Москву, поселили вместе с ними, в том же загородном каменном особняке, одном из нескольких, обнесённых общим глухим и каменным же забором. Ей отвели там сразу несколько комнат, но она всё равно всю неделю чувствовала себя приживалкою. С детьми общий язык находила, хотя по-грузински из них толком не знает никто. А вот с невесткою нет. Она вообще не воспринимала её своей невесткою, эту слишком молодую, холёную женщину со странно горячим взором и, так не соответствовавшими ему, плавными, медленными движениями пианистки или драматической актрисы. Примы. Говорят, дочь рабочего. Врут. У рабочих и получаются — только рабочие. А тут — если и не праздная, то — парадная. Ну разве прижмёшь эту гладко зачёсанную, Натальи Гончаровой, Парижами пахнущую, дегтярно-черноволосую голову к высохшей своей груди? Или прильнёшь ли сама, нечаянно всплакнув, к этому отстранённо, лунно холодному, не в меру, по старухиным понятиям, оголённому плечу? Нет и нет. Матерью её невестка не называла, обходилась именем-отчеством, даже к столу звала через горничную. Да и свекровь в эту неделю старалась лишний раз с нею не встречаться. Скуластая и заветренная, как краюха чёрного и чёрствого хлеба, в старушечьем клубоке, в тёмных и длинных монашеских своих одёжках, она при

ней сама себе казалась не только старше своих, тоже немалых, лет, но и — чужой. И этим хоромам, и снохе, и детям, и даже сыну, который в особняке почти не появлялся, оставаясь дни и ночи где-то за пределами семьи. Исподтишка лишь любовалась снохой, как любуются в музее холодной и голой статуей или отчуждённо-знаменитой артисткой на холодно освещённой театральной сцене.

Хороша Маша, да не наша. Не такая бы жена нужна ей Сосо. Пускай бы тоже русская, но — не такая. Постарше, попроще. И не с такими горячечными библейскими очами — лучше бы, чтоб там уже перегорело. Самые вкусные хлебы пекутся не на пылающих углях, а на соломенной золе.

И так странно иногда посмотрит на свекровь, как будто та перед нею в чём-то виновата.

В чём?

Виссарион тоже часто дома не ночевал — у каждого из них свой запой.

Смирись, дева. Махни рукой. Но эта, правда, если и махнёт, то не рукою, а — крылом. Пава!

Она и сама порою чувствовала себя перед нею виноватой. Вот только так и не поймёт, в чём?

Может, и ей, как сыновым фотографам, не угодила — с сыном?

Старуха повернулась на другой бок. Да, устала она за эту неделю. И в том, каменном, с гражданской обслугой, особняке, и в этом, деревянном, военном и скромном, куда её позвали только сегодня, на это глупое застолье, чтоб завтра — проводить на вокзал. Выпроводить — да, она слишком черна для этих паркетных полов. Идёт и оглядывается — не наследила ли?

Муха на мраморе.

Не складывается у неё, с лачужным её происхождением, с хоромами. Сын и в Тбилиси поселил её в беломраморном дворце — вот уж точно навозная муха в янтаре — бывшего царского наместника на Кавказе. Но она и там отыскала себе комнатку, в которой живала когда-то прислуга. Это он, сын, не глядя, перешагнул из их горийской хибарки в царские покои — ему ли обращать на это внимание? Он и по воде пойдёт, аки посуху...

И вновь старуха испуганно прикрыла непослушный, хоть инсультя покамест, слава Господу, ни одного, рот. Свят-свят!

Так и живёт она в том беломраморном дворце — в прислугах. В прачках — она невольно взглянула на свои сухие, сморщеные, смолоду съеденные подёнкой ладони. Пальцы дрожат, словно кто-то всё ещё играет на них. Ну, разве ж можно их положить на столе рядом с долгими — вот они-то сами для струн созданы — нежными — даже дорогое кольцо смотрится на них как грубое, потное седло на арабском, с газельими глазами, скакуне — пальцами невестки?

Разве что с теми волосатыми лапами недавнего соседа? Прячкою была, ею и осталась — даже здесь. Знает ли сын, что живёт она не в дарованном им царском замке, а в пристройке? Наверное, знает. Наверное, доложили — даже телефон в каморку её провели. Но хорошо хоть, помалкивает. Он и сюда, в Москву, направил её в наркомовском салон-вагоне. Да она уговорила охрану, и на ближайшей остановке его заселили пассажирами с детьми. Сама же она разместилась в одном купе с официантками — привычнее. Корзинки только да бутыли, которые припасла для сына, ехали по-наркомовски: в курительном, мягким салоне. Правда, гостицы отобрали у неё прямо на Московском вокзале, и больше она их не видела.

Господи, Твоя воля...

Всё равно один-то подарок сыну она передаст. Уж его-то никто у неё не отберёт. Он и сейчас спрятан у неё в кармане.

Не заметила, как задремала.

Очнулась, услыхав негромкий стук в дверь.

— Да! — села, едва доставая ступнями, тоже сухими и твёрдыми, до пола, на кровати.

Поправила платок — кто бы это мог быть? — ведь уже, похоже, за полночь.

Вошёл, как она втайне и понадеялась, сын. Не во френче, а в мягкой байковой кофте, полотняных штанах, заправленных в обрезанные сверху валяные опорки — ноги болят? — мелькнуло в голове — и с носогрейкою в зубах.

— Не спиши?

— Нет, — счастливо соврала мать. Господи, за всю неделю она ведь ни разу толком и не поговорила с ним.

Он неторопливо усёлся в кресло возле круглого, наподобие ломберного, столика.

— Чайо хочешь?

— А ты? — вопросом ответила мать.

Он что-то нашупал под столом. Видимо, кнопочку. Потому что в ту же минуту, как будто только что стояла вместе с ним за дверью, появилась статная,держанная дама в белоснежной наколке и в тугу накрахмаленном, с выбивкою по краям, переднике, ловко и твёрдо удерживая на полной и сильной руке поднос с чайными парами, пирожными, вазою с фруктами и даже с графинчиком и хрусталём — всё это прикрыто, словно короной, калиной, расшитой салфеткою.

«Ну и рука! — с приязнью подумала старуха, узнавая когдатошнюю свою, молодую — даже Виссариону порой от неё перепадало — десницу. — Коня на скаку остановит!»

Дама, поклонившись Екатерине, что так и не привыкла к чужим поклонам и смешно попыталась ответить тем же самым со своего пухового ложа, поставила принесённое на столик и ловко сдёрнула салфетку.

Сын только бровью повёл — дамы в комнате уже не стало. Екатерина проводила её длительным заинтересованным взглядом. Идёт, чертовка, как строчку шьёт!

— Спускайся с облака, — улыбнулся сын в рыжие прокуренные усы — видать, заметил её взгляд.

Она послушно съехала с кровати и, прямо в чулках и носках, села в кресло напротив.

— Понравилась Москва?

— Понравилась, — простодушно ответила.

— То-то же. А ты не хотела ехать...

Мать засмеялась: это она-то не хотела? Только и мечтала — повидать сына. Как перед смертью. Да он — не звал.

— Девки замуж идут не когда хотят, а когда зовут.

Сын улыбнулся тоже.

Подвинул ей чай и сухое пирожное, себе налил вина из графина:

— Говорят, ты привезла?

Она встрепенулась, даже лицо морщинистое помолодело:

— А ты ещё не пробовал?

— Другие пробовали... Проверяли, — вновь усмехнулся сын.

— Да что ты? — изумилась мать. — Я у самого Теймураза-Косого на базаре брала. Он, говорят, никогда не разбавляет...

— Тебе не понять, — погладил вздрогнувшую материнскую руку и сделал глоток.

— Да, — покорно согласилась. — В вине я не разбираюсь.

— А как тебе английский фотограф?

«Странно, — мелькнуло у старухи. — Не о детях, не о жене, а о фотографе спрашивает...»

— Фотограф-то тоже понравился, — задумчиво протянула она.

Ей и в самом деле понравился фотограф, с которым она провела вчера половину дня. Он снимал её в Москве для какого-то журнала. Сказал, когда встретились: «У нас с Вами, мадам, будет сегодня фотосессия». Она испугалась: заседание, что ли, на которых она отродясь не бывала? Оказалось, нет. Фотограф ездил с нею по Москве на большой иностранной машине «Паккард», в которой, кроме них двоих и шофёра, был ещё офицер охраны, и снимал в разных местах. Сниматься она не боялась, хотя не помнит уже, когда с неё делали последнюю карточку. В молодости, пожалуй. Больше всего понравилось ей на набережной. Ты сидишь, а город перед тобою нежно плывёт. Только людей вокруг никого, ни на скамейках рядом, ни у парапета. Люди ей никогда не мешали. Может, фотограф настоял, чтобы перед глазами не мельтешили? Да, он ей очень понравился. Ловкий, обходительный, по-русски чешет лучше неё. Когда закончили, полезла в риди-

кюль, который специально для этой поездки в Москву и купила, но он засмеялся и сказал, наклонившись к самому её уху, как будто она уже глухая: «Я на вас и так уже хорошо заработал». И даже в тот же вечер прислал ей одну готовую карточку — она, Екатерина, на лавочке. Сидит, так же, как сидела бы и у себя в Гори. Всё в тех же своих тёмных монашеских одеждах и высоком национальном клубке. Не позирует. Она и слова этого не знает. А просто смотрит.

Смотрит — пока ещё смотрит — на белый свет. На плывущий мимо и нежно город. Правда, печальными-печальными, давно перегоревшими большими глазами. Да, ей кажется, что на этой карточке именно она. Не то, что с сыном — в жизни он один, а на новых карточках совсем другой. На старых, охранкою сделанных, — действительно Сосо, сын, только молодой. А на этих, современных, уже как бы и не он. Не её сын и даже вообще не смертной женщиной рождённый. Наверное, нынешние его фотографы искуснее тех, из охранки. И этот англичанин тоже как бы ещё начинаящий, охранный. Но ей нравится, что она на этой фотокарточке — сама. Что это карточка, а не икона. До иконы, видать, и англичанин мастерством пока не дорос, да и она — перестарела...

— А кто не понравился? — довольно жёстко вывел её из оцепенения сын.

Неужели подумал, что она такая дура и ляпнет что-либо о его жене? Не-е-ет...

— Вот эти, — вымолвила и неуверенно показала рукой куда-то в сторону обеденного зала.

— Ну, ты не увлекайся, — остановил её сын. — Какие есть, такие и есть.

«Есть» и «съесть» — какие похожие русские слова! — подумала старуха.

Сын вынул из кармана ещё не надорванную, как новая карточная колода, пачку денег. Такого их количества она никогда не видела и даже деньгами их не восприняла. Бумажки. Когда их мало, они — деньги, когда вот так безмерно много — бумага. Карты.

— Возьми, — протянул ей.

— Зачем они мне?

— Пригодятся, — и пододвинул пачку к её ладони.

Медленно-медленно выпил бокал до дна. Мать обрадовалась: понравилось!

И стал подниматься:

— Тебя завтра проводят.

У неё сжалось сердце: неужели уйдёт? И она, быть может, уже никогда его не увидит?

— Подожди...

— Что? — не понял сын.

— Ты в Бога ещё веришь? — робко спросила она.

Тот молча и длительно, как на полуумную, поглядел на неё.

— Я всё-таки жалею, что ты так и не стал священником...

Он пожал плечами.

— Наклонись, — тихо попросила она.

Он недоумённо склонил голову — наметившаяся лунка грустно просквозила перед её глазами.

Мать также приподнялась, даже на цыпочки встала в своих самовязанных шерстяных носках, вынула из кармашка свой нательный медный крестик на шёлковом очкуре и надела на шею сына, тоже в нескольких местах, как и щёки, побитую старой, детской ещё оспою.

Он не противился и даже обнял её — на прощание:

— Спасибо. До встречи.

Она, всплакнув — окончательно поняла, что на вокзал отправится без него, — перекрестила:

— Храни тебя Господь...

Он, мягко, по-рысы ступая опорками, ушёл. Чай она допивала уже с давешней дамой. Матери хотелось поговорить о сыне, но та была неразговорчива. Тоже непроста, — заключила старуха про себя.

Деньги ещё раньше, сразу же после ухода сына, спрятала под подушку — там они и остались. В самом деле — в могиле, даже беломраморной, деньги ни к чему.

Всё тот же, тоже неразговорчивый, офицер проводил её утром на Курский вокзал. Москва шумела вокруг них — где-то в этом многоголосье слышался ей и глухой, с невытравимым кавказским акцентом, голос сына. Она не могла понять, враждебно ли это чуждое столичное многоголосье ему или нет? Кто он тут, в этом гудящем раю-аду, свой или чужак?

И вообще, где он по-настоящему свой? В Гори, в крохотной церковке, рыжим батюшкой в опрятном, хотя и стареньком, подряснике, как то ей втайне хотелось бы?

И она бы тоже приходила к нему на исповедь?

Старуха грустно покачала монашескою своей головой. Вряд ли.

На сей раз в вагоне никого, кроме obsługi. Знакомые официантки обрадовались встрече — им не плохо ехалось давечка со старухой. Расположив её в просторном купе, устроенном под гостиную, офицер, уже перед уходом, вынул из внутреннего кармана своей шинели крохотный свёрток в папиросной бумаге и положил на откидной стол:

— Забыли. Велено вам передать...

Она не стала раскрывать пакетик при офицере.

Проводила. Вернулась. Раскрыла.

В пакетике лежал её собственный нательный медный крестик на шёлковой заношенной бечёвочке.

Она заплакала.

Премьер Георгий Маленков выходит на новую работу

— Куды прёсси?!

Сухая, мосластая и вместе с тем широкая в заду, как то бывает со старыми рабочими одрами, баба повернула к нему измодённо-серое, с яростно закущенной в углу бескровного рта самокруткою лицо и зло повторила:

— Куды прёсси? Директора ждём...

Швабра, которой она только что остервенело орудовала, зажата в костлявых руках, готовая взлететь и, обдавая градом грязных брызг с намотанной на ней мешковины, обрушиться на чужую нежданную голову.

Маленков оторопел. Грузный, циклопический, как вывороченный на берег кит, в белом, чеховски дачном полотняном костюме и в такой же белоснежной полотняной фуражке с высоким околышем, которую он в эту решительную минуту растерянно, пошкольярски сдёрнул с головы и смял в пухлой руке — в другой у него потёртый, в лишаях, кожаный портфель, — он резко остановился и как будто бы перехнулся, не находясь с ответом.

Обшитый дубовыми панелями, с такими же залысинами, как и его старый жёлтый портфель, коридор узок, вдвоём не разойтись.

Тем более двум таким разнородным существам, хотя и относящимся, говорят, к одному виду, млекопитающих.

Задыхающийся, поскольку выброшен из воды, кит и — старая, изнурённая, но всё ещё норовистая кляча, с обломками жёлтых прокуренных зубов. И с ядовитой злостью в сощуренных, выцветших глазах. Цвета нет, и злость и стала их однородным цветом.

— Кого в такую рань?..

И осеклась. До неё стало что-то доходить. Поджёванная сигарка задумчиво переместилась в другой конец безгубой расселины.

По виду баба вроде бы русская. Маленков, хоть и тщательно, десятилетиями скрывавший и даже в самом себе вымарывавший своё дворянское происхождение, всё же сохранил, не вытравил то безошибочное чутьё на то русское, особенно в языке, что было присуще всему обнищавшему российскому мелкопоместью.

— Гм... Гм... Здравствуйте...

Голос довольно высокий и тонкий, что, как ни странно, часто, запечным сверчком, вселяется в людей больших и грузных. И даже мужественных. Такой, например, был у Твардовского, у Собчака... У Ельцина.

«Голос — что в ноздре волос: тонок да нечист...»
Пожалуй, никто в Политбюро, включая самого Ст-
а

лина, не знал этой старинной, жёсткой, даже чуть похабной русской пословицы, особенно если учесть, что «ноздрю» в устной речи часто заменяли наименованием совсем другой части человеческого тела. Никто, кроме Маленкова.

— Здравствуйте! — увереннее произнёс Маленков.

— Здравствуйте! — хрюплю ответила уборщица и вынула цигарку изо рта. — Вы кто?

Люди любой национальности, долго проживая в инородной среде, национальной, социальной или географической, как бы окисляются, приобретают её, этой среды, инородные черты. Здешнее солнце ли опалило в общем-то изначально правильные, европейские черты, непривычная, хотя и длительная нужда ли обгладала природный костяк, выпростав наружу мослы и жилы — задрапированную было, грубую оснастку? Язык ли, приспособливаясь к окружающему вульгарному подзолу, забыл родную почву, но люди эти становятся другими, попадают в какой-то промежуточный разряд.

Только теперь, когда злость из её глаз ушла, Маленков увидел, что глаза у неё — подводные. Встречаются такие изначально красивые, но потом постаревшие и подурневшие женщины с глазами утопленниц. Смотрят на вас как бы из-под воды усталыми русалочими глазами. Усталыми, но при этом неуволимо распутными. «Блядскими», — подумал Маленков.

Досрочно престарелая, донельзя огрубелая кляча из некогда нездешних, столичных кобылиц стояла перед вчерашним премьером.

Ему ещё только предстояло, так же как когда-то и ей, стремительно сбросить барственныи вес, провалиться гудронными глазами, достичь умеренного дрожанья рук и забыть те мясистые обороты речи, о которых Марсель Пруст когда-то сказал: истинный аристократ и мужик говорят одним языком.

Умереть ему предстоит где-то в восемьдесят восьмом, и встретиться они, в общем-то ровесники, перед его смертью, они бы показались *парой*.

Холстомеров. Толстовских коняя.

«Неужели из ссыльных?» — подумал Маленков. Теперь они и в этом стали ровней.

— А где же Васька? — совсем другим голосом и даже выговором другим спросила, робея, коняга, приставив швабру к стене и туда же, прочь с дороги Маленкова, подвигая ведро с холодной и грязной водой. — И Зинка так рано не приходит...

Зинка, догадался Маленков, секретарша. А вот Ваську он уже знал. Тот представился ему ещё накануне вечером, встречая на вокзале.

Почти неделю добирался Маленков сюда из Москвы. И всю эту неделю в одном с ним купе ехал один и тот же человек. Ехали они без пересадок, про-

сто их вагон на разных станциях перекепляли то к одному составу, то к другому. Маленков, переодевшись в пижаму, молча лежал на своей полке, отвернувшись к стене. Изредка наспех, без аппетита перекусывал тем, что собрала в дорогу жена Валерия. Где-то на третий день попутчик взмолился:

— Может, в ресторан сходим, Георгий Максимилианович?

Это при том, что они не знакомились и вообще трёх слов до тех пор не сказали.

— Иди, — буркнул Маленков и накрыл голову второй подушкой.

Странно: люди в вагоне вроде бы были, но никто в него на остановках не входил и никто отсюда не выходил. Проводник только без конца заглядывал:

— Чаю, Георгий Максимилианович?

Вопросительно глядя при этом почему-то не на самого Маленкова, а на его спутника. Несколько раз, понизив голос, спрашивал:

— А может, водочки?

Маленков отрицательно качал головой. Но водочку всё же приносили. И не официантка, а всё тот же подозрительно лощёный проводник, прямо-таки выпиравший из своей железнодорожной формы. На фигурном жостовском подносе оказывались два бутерброда с московской колбасой, два стакана, бутылка боржоми и две полные стопки. Попутчик расправлялся сперва с одной, а потом, вздохнув, и со второй.

Давно привыкший к личному аэроплану, Маленков позабыл уже вагонную тряску. И землю свою родимую привык уже видеть с высоты птичьего полёта. Теперь же, воротясь из туалета, в который втискивался как медведь в свою берлогу — это весной она становится ему как бы с чужого плеча, — подолгу сиживал, откинув занавесочку, у окна. Пятьдесят седьмой год, война давно позади, а земля нищая, разорённая, люди на полустанках, даже под Москвою, попадались в лаптях... «Если Никита удержится у власти, — попробовал пошутить сам с собою Маленков, — мы все окажемся в лаптях». И невольно взглянул в угол, где стояли его лакированные штиблеты: на месте ли?

Шутка не удалась. На душе скверно. «Сплести лапти», ещё одна горькая русская присказка — это про него самого. Про Маленкова. Как и «загнуть салазки»...

Сковырнуть Хрущёва, которому он сам же дал ходу, уступив место Первого секретаря и право ведения секретариатов ЦК, не удалось. И сковырнули его самого: сперва из Предсоммина, а потом и просто из министров. И назначили отставной козы барабанщиком — на эту вот станцию в верховьях Иртыша, распоряжение на строительство которой он сам же, не глядя, и подмахнул когда-то в кипе других бумаг.

Ещё одна странность: весь вагон, в котором следовал Маленков, скопом высадился в Усть-Каменогорске. Встречали его несколько человек, в том числе и шофер, сразу же подхвативший у проводника маленковские чемоданы и успевший запросто, с подачей руки, представиться: «Василий»... Был среди них и начальник железнодорожной станции, судя по всему, полный дурень. Он, глупо ослабившись и по-амикошонски облапив Маленкова за плечи, пропугнул ему прямо в ухо:

— Ну-у, Георгий Максимилианович, уважили! Никогда раньше эсвэ в нашу глушь не ходили...

Маленкова тогда передёрнуло. А Василию он, добравшись до квартиры — об этой дыре и вспоминать не хочется, — сказал, что утром дойдёт до работы сам. Как? — язык до Киева доведёт. Городок-то при станции — с ноготок.

Знал бы Маленков, что будет означать эта пословица году в две тысячи четырнадцатом: язык и впрямь способен довести аж до Киева...

— Подъедет, — спокойно ответил ей Маленков. — Проводите меня в кабинет.

Она почему-то вытерла свои большие, разбухшие ладони о фартук, как будто собиралась вести его, словно маленького, за ручку.

Собственно, род у них один: злые языки в ЦК заглазно погоняли Маленкова «Маланьей». И ещё неизвестно, в ком твёрдого вещества поболе: в бабе, подперевшей собою стену, или в этой, *ромовой*, нерешительно переступавшей с ноги на ногу.

Маленков поплёлся следом.

Она провела его в кабинет, на дверях которого уже висела убогая картонка с его фамилией. Господи! — такой пендюрки у него в жизни ещё не было: он втиснулся в неё примерно так же, как втискивался, скрипя боками, в галюн эсвэ. Чулан...

— Вы можете согреть мне стакан чаю?

— Да, — ответила женщина, собираясь пройти.

— Как вас зовут? — задержал её на пороге Маленков.

Она удивлённо обернулась:

— Клавдия... Георгиевна...

— Спасибо, Клавдия... Георгиевна.

Маленков неловко повернулся, и стул под ним затрещал.

Женщина удалилась, Маленков стал уныло перебирать бумажки на столе.

Господи, куда же его занесло... Это же хуже, чем в Ташкент, потому что туда его когда-то *направляли* — партийным маршалом, а сюда, в казахстанскую глушь — почти что последним клерком. Не направили, а выпихнули.

Столько лет, десятилетий делать карьеру, причём так, как делает её дождевой червь — сколько дермы, сущей бесплодицы пропустил Маленков через себя,

чтобы выдать на выходе — гумус! Если учесть, что львиную долю своей служебной жизни провёл закопавшись в бумаги, в том числе и ведя громадную канцелярию вождя, то гумус у него, после него, переработанный не только пищеводом и прочим, но и головным мозгом — высшей пробы: чистая целлюлоза!

Взявшись за края стола, Маленков слегка покачал его, словно пробуя на устойчивость. Со своей сбакевичевской массой он мог поколебать и не такие устои. Мог! — неужели всё решительно и бесповоротно в прошлом? И всё же он ещё и погладил эту колченогую конторскую рухлядь. И пухлая ладонь сразу же узнала родной шершавый ворс зелёного, почти солдатского сукна.

Так гладят круп верного своего Савраски, и устала, кнутами траченная шкура, дрогнув, податливо отзывается на ласку.

Стол! — с юных лет вернейший друг его, товарищ и брат.

И трон, и плаха.

Допустите Маленкова к столу — и он, обувши локти в сатиновые нарукавники, в любых обстоятельствах, при любых передрягах окажется на коне!

Отставной премьер задрал руки за шею, сцепил там пальцы замком и даже неожиданно — при его кисельной консистенции — крепко хрустнул ими.

Господи, неужели всё сызнова? В пятьдесят пять лет? Ленин в пятьдесят четыре уже помер (вспомнилось, что девичья фамилия его собственной, Маленкова, матери — Ульянова). Правда, Хрущёв в пятьдесят девять стал Первым. Не всё потеряно?

Пожалуй, самый образованный из тогдашнего Политбюро, закончивший Московское Высшее Техническое Училище (которому победившая Совдепия сразу же припечатала почему-то имя зоотехника Николая Баумана — с его похорон, по свидетельству М. Горького, и началась в России Большая Революция), Георгий Маленков тем не менее был человеком дождя.

Даже не дождевым червём, а человеком дождя в большей степени.

Никакой техники — одна технология.

Нет, этот дождевой червь перерабатывает канцелярскую бумагу даже не в целлюлозу.

В мысль!

Точно так, как его назёмный собрат, тутовый шелкопряд из грубого, кожистого древесного листа выпрядяет тончайшую шёлковую нить, причём такой упругой силы и прочности, что из неё парашютные стропы делают.

Даже в Гражданскую единственным боевым копнём Маленкова оставался рассохшийся, в какой-то из разорённых барских усадеб реквизированный письменный стол. Именно за ним, за письменным столом, Маленков способен выдавать чудеса. Гений канцелярии! — любая из них, заполучив в свои на-

чальники такого виртуоза, из отхожего места любой конторы становится штабом.

Тронным залом.

Любой, даже самой пустопорожней, бумаге Маленков и впрямь умел придавать мысль.

Подвигаясь со своим четвероногим боевым Родинантом с низшей технической ступеньки в МГК ВКП (б) до ЦК, а там — аж до личного канцеляриста Иосифа Великого и до банкомёта всей кадровой колоды партии, Маленков неуклонно расширял и границы, плацдарм своей бумажной мысли.

До вселенских масштабов. А что? — премьер любой великой страны каждым росчерком своим заступает за её границы.

В ещё большей степени чувствовал он отсутствие границ как таковых, когда визировал бумаги Сталина.

Не было ни одной сталинской цидули, которая не проходила бы через его, Маленкова, руки. Единственное, к чему не допускал его вождь, — это к своим экзерсисам по языкоznанию. Но туда Маленков и не рвался — совершенно эфемерная, а стало быть, бесполезная сфера.

Хотя именно языку Сталин мог бы и поучиться у своего штафирки: язык у Маленкова богаче, сочнее, чем у вождя. Он у него не только более русский, но и более народный, чему Сталин втайне завидовал.

Но чтобы обладать таким, народным языком, надо, перво-наперво, родиться *вне* народа. Желательно — над ним. Барином. Сталин же вылез из его гущи, как из ворвани, из гноя набухшего кокона вылезает бабочка, стремясь тотчас же забыть, отринуть своё назёмное происхождение.

Сталин ещё и потому, догадывался Маленков, подсовывал ему свои бумаги и речи, что после «Маланьи», как ни странно, они выходили более твёрдыми, мужественными, афористичными и смачными.

Маланья и вправду как бы писал их заново, насыщая их собственной дегтярной кровью.

В первые годы советской власти существовал институт военспецов. Маленков чувствовал себя в Политбюро прикомандированным интеллектуалом. Ему льстило, что, не пробившись к Сталину, от одного кителя которого — из какого такого небесного сукна, чёрт подери, шили старому хрычу его архангельские обновы? — исходил, как от плащаницы, некий иконный, загадочный свет, рафинированные иностранные дипломаты на кремлёвских раутах подходили, минуя остальных, что из грязи в князи, членов и кандидатов в члены п/б — к нему.

И в перехваченных потом московскими дешифаторами донесениях сообщали, как чертовски, аристократически умён и даже остроумен этот советский бонза.

Маланья любил читать перехваты про себя. Правда, больше никому их не расписывал.

Древние весталки, пифии нередко выбирали мальчиков, чтобы их голосовыми связками говорить с людьми и народами. Маленков, доводя сталинские тексты до литературного блеска, на который не способен был ни один из официальных Иосифовых помощников, оттачивая, предугадывая и даже преосуществляя порой его мысль, считал про себя, что это он, человек дождя, вещает слабым, почти загробным голосом вождя. Нет, что греха таить: избранный им, судьбою орган речи всё-таки совершеннее, чем его собственный. Больше подходит размаху мысли — во всяком случае, от его собственного диксантана вздрагивают только особо сведущие, а вот от слабой, глухой и нерусской сталинской хрипотцы кровь стынет в жилах у каждого. По всем границам.

Народ... Да, Маленков искренне считал, что уж свой народ и свою страну он-то знает куда лучше, чем эти выскочки из п/б.

Пока его не окунули — и в страну, и в народ.

...Неужели всё съязнова: в пятьдесят пять лет? Вот с этого стола, как с первой, самой стёртой ступени? С порога. Идиоты — отлучив от партии, обозвали антипартийной группой. Это его-то, который почти всю свою сознательную жизнь подчищал за партией её ошибки, включая грамматические, и выводил, вывозил её на собственном горбу из рабоче-крестьянской, сермяжной ипостаси — в подлинную европейскую элиту.

...В дверь постучали. Уборщица принесла чай. На сей раз как-то подобралась и даже показалась Маленкову не только чище, но и моложе. Стакан с блюдцем поставила прямо на стол, на сукно. Маленков поспешил подсунул под него листок писчей бумаги. Уборщица улыбнулась:

— Извините, отвыкла...

— Возьмите и себе чаю.

— Да нет, спасибо, дома напилась.

— Тогда просто посидите со мной.

Уборщица присела на стул возле приставного столика и молча взорвалась на позавчерашнего премьера.

— Как живёте? — просто спросил вождь.

— Честно? — сощурилась та.

Он пожал плечами.

— На букву «Хэ», только не подумайте, что хорошо.

Маленков засмеялся: бабёнка положительно нравилась ему. Одной с ним породы — такой палец в рот не клади.

— И что, никаких перемен?

— Ну, как же, вот — реабилитировали...

— Так вы что — всё-таки ссыльная? — почти с испугом спросил он.

— Да, — твёрдо глянула ему в глаза. — Как теперь вот и вы.

— Я не ссыльный, я — снятый, — слабо возразил Маленков.

— Что в лоб, что по лбу. Для вас быть снятым ещё хуже, чем быть ссыльным. Непривыкший...

Маленков поморщился.

— А сама откуда?

— Из Москвы. Что, не видно? — с вызовом откликнулась она.

— Видно, — усмехнулся Маленков. — Почему не возвращаешься?

— Куда? — разозлилась она. — Муж сразу сбежал. Мать умерла. В квартире давно чужие люди... А вы меня, часом, не узнаёте?

— Я? — ещё больше испугался Маленков. — Вас?

— Ну да. Помните собрание, на котором вы так страстно громили институтских троцкистов?

— А вы что, *оттуда*?

— Хотите сказать, из троцкистов? — скривила губы. — Нет — из МВТУ имени вашего Баумана...

Маленков опять откинулся на стуле и вновь крепко сцепил на густоволосом загривке пальцы.

— Я не громил... Я сам висел на волоске.

— Это вы сейчас — на волоске. А тогда карабкались по канату. Вверх! — первый студент и первый же большевик в училище... Глаза пылали... Знаете, как о вас говорили студентки? Что у вас глаза Маяковского, а зад... В общем, что-то про Лилию Брик...

Маленков вспыхнул. Если сейчас хватить кулаком по столу, стол разлетится. Стол, вообще-то, надо поберечь. Казак, даже оренбургский, без коня — что баба без огня. Баба... Что она себе позволяет?!

Впрочем, что глаза у него как у Маяковского — это ему ещё жена говорила. Правда, когда ещё не была женой...

— Вы хоть знаете, за что меня сняли?

— «Правду» не читают, — пожала плечами тётка. И вынула откуда-то, прямо из-за пазухи, теперь уже загодя припасённую беломорину и очень ловко, твёрдо, по-мужски постучала тыльной, пустой стороной её по столу, опять попав по сукну, отчего Маленков вновь невольно поморщился. — Позволите?

— Курите. Но для здоровья это вредно.

— Жить вреднее.

Промяла, крепко прищемила папиросу, прикусила её искрошившимися мелкими жёлтыми зубами и длинно чиркнула спичкой по исподней стороне столешницы. У Маленкова глаза — Маяковского! — полезли на лоб.

— Напрасно не читаете. Могли бы и почитать — между строк... Это ведь я, а не Хрущёв, сразу освободил миллион, отменил налог на плодовые деревья, облегчил налогообложение, убрал плату за обучение в старших классах, списал миллионные многолетние долги с колхозов... Народу стало жить легче, — неуверенно произнёс он.

— Народу, — затянулась, — может быть. Но не мне...

— Вы что же — не народ?

— Нет. Я — человек.

Маленков отпил из стакана остывшего, скверного чая. Дрянь! — надо было привезти с собой из Москвы, с Грановского. И вообще, странная эта публика — народ. Не подходи к кобыле сзаду. Иосиф жал его, как жмых, — и его боготворили. Никита по своей непроходимой дури пускает его по миру — но его терпят. Он же, Маленков, действительно отпустил вожжи, освободил, дал вздохнуть — и на тебе. Никакой благодарности! Ни одна стерва в защиту не поднялась. Хотя сняли его, убеждён, именно за это — за заигрывание с народом. Опять же идиоты! — он и не думал заигрывать. Он мечтал: сквозь бюрократический, войлочный кокон — пробиться к нему. К своему народу! Наладить с ним прямую, без посредников, связь. А народ его — сдал. Дураку, потому как дурни ему, народу, который и сам крепко дураковат, понятнее. Не в коня корм. Вот и эта, Вера Засулич со шваброю и сама на швабру похожая, про какое-то собрание столетней давности помнит, а о том, что это именно он, Маленков, ни с кем не советуясь, подписал первые реабилитационные постановления и списки, и знать не хочет. Народ, бляха-муха, махан ему в рот. Как это у того же Маяковского: а не буду понят родной страной, ну и что ж: над родной страной пройду стороной, как проходит косой летний дождь...

— Совещание будете проводить? — совсем уж иным, миролюбивым тоном спросила Клавдия.

— Ну да, надо же познакомиться, войти в курс дела...

— А в портфеле есть что-нибудь?

Маленков густо покраснел: в портфеле у него лежала ещё из Москвы захваченная бутылка армянского коньяка «Наира». «ОС» — если и не самый старый, то самый сносный. Сунул утром на всякий случай: ежели совсем муторно станет.

— Покажи, покажи! — насидала Клавдия.

Маленков, замешкавшись и ещё жарче пойдя пятнами, показал.

— Молодец! — похвалила Клавдия, внимательно и цепко разглядывая ажурную этикетку. — Вот с этого и начни. Наши мужики его тут спокон веку не видывали. А выпить тоже не дураки, особенно главный инженер. Он тут самый умный, правой рукой тебе будет, если привадишь. А умные — всегда пьющие. Между прочим, тоже из троцкистов...

В дверь вновь постучали. Впорхнула молодая, красивая, в юбке колоколом. И вытаращила подкрашенные — мы тут, в Тымтаракани, тоже не лыком шиты! — и оттого ещё более голубые: мать моя девушка! — умопомрачительная земноводная туша в

белом, перед нею их конторская мымра Клавдия, а между ними непочатая бутылка коньяка!

Самое удивительное: непочатая при этой стерве, Клавдии!

— Ax!

Клавдия медленно, гремя костями, поднялась и, смерив влетевшую муху презрительным взглядом, пошла вон.

...Маленков вывел-таки электростанцию в передовые. Но через два года его переведут из областного центра в совсем уж захудалую дыру — в Экибастуз. С гидростанции — на тепловую, угольную. Причём переведут с выговором, занесённым аж в партийную книжку — за панибратство с рабочими и ИТР.

Насчёт выговора с занесением настоял сам Хрущёв — оттуда, с верхотуры, из Москвы, из ЦК.

Стало быть, за панибратство — со своим народом. Это ещё круче, чем за заигрывание с ним же.

Экибастуз же со временем станет главным угольным разрезом страны, и станция окажется одной из самых крупных не только в Казахстане, но и во всей стране. Но Маленков уже будет наблюдать за этим из Москвы, куда вернётся-таки в шестьдесят первом. Чтобы умереть в восемьдесят восьмом.

Он многое ещё чего увидит, тоже враз простираясь, робкий, тощий, со слипшимися, как у его когдатошнего портфеля, боками и с чёрными, крупными, лихорадочными и умными маяковскими глазами.

прорезавшейся дуги: нам бы, не только простым, но и маленьким смертным, и досталось бы наверняка больше всех.

Что касается Карибского кризиса, то в нашем интернате он вскоре обернулся кризисом женских, девичьих сердец.

Шёл, кажется, шестьдесят второй или шестьдесят третий. В наш городок — а это многострадальный Будённовск, вернее, тогда-то он был вполне себе благополучным, его катаклизмы оставались где-то в Средневековье, когда он звался ещё городом Маджар и стоял на очень выгодном и потому же очень опасном средостении Великого Шёлкового пути, а многострадальным новейших времён он станет в девяносто пятом, после злодейского басаевского налёта (Басаев, по легенде, воспитывался в своё время, значительно позже меня, в том же будённовском интернате, потому и знал город как свои пять пальцев, хотя, опять же по легенде, конечной целью его бандитского рейда являлся не обременённый средневековым прошлым Будённовск, а исторически юный бастард Волгодонск с его «Атоммашем», впоследствии тоже ставший многострадальным, как и многое-многое в нашей стране) — так вот, в наш городок заявились кубинцы. Небольшая группа молодых людей, очень нарядных, в одинаковых белых рубашках и чёрных штанах — этим они схожи с нами, интернатскими, поскольку мы тоже все в одинаковом, правда, не в нарядном, а в сером: свою тогдашнюю школьную форму самые продвинутые из нас называли «гоминдановкой».

Как видите, мы очень тонко улавливали тогдашнее международное положение, не случайно юных революционеров привезли именно к нам.

Но просчёты состояли в том, что привезли их на интернатский двор сразу после посещения находившегося неподалёку от городка Прасковейского винсовхоза, чьи напитки известны всей округе, правда, не через продмаги, а больше через «канистру», поскольку винные работники подворовывали не бутылками, а оптом, а после уже подторговывали в розлив. Мускат же прасковейский шёл и значительно дальше даже наших тогдашних, немалых государственных границ — аж до винных подвалов английской королевы, которая, оказывается, тоже знала толк в вине не хуже наших местных знатоков — может, потому что была тогда ещё совсем молодой, почти что из «Римских каникул».

Похоже, у революционеров пристрастия тоже королевские.

Видимо, сделаны они из одного теста.

Но стойкость у революционеров всё же уступает королевской. Кубинцы вывалились из автобуса, развернувшегося на нашем интернатском дворе, в стельку пьяные. Наш алкоголь оказался карибам не

Фидель Кастро Рус и некоторые другие, чуть менее знаменитые

Мы ехали на краевой смотр художественной самодеятельности.

Тогда были в моде военизированные выражения. Сегодня, в соответствии с изменившимся общественным целеполаганием, сказали бы «конкурс», «фестиваль» или нечто подобное. Тогда же мы ещё не были демобилизованы. Из горячей, что ещё дышала где-то за спиной, попали в войну холодную, да и та вот-вот грозила обернуться пеклом.

Карибский кризис, как таковой, я не помню. Но мне очень памятно напряжение, которое как-то мгновенно и необъяснимо возникло в те осенние дни в самом воздухе, что нас окружал. Вроде как посреди гнилого, осеннего ненастяя всё замерло, словно в параличе, в ожидании обжигающего, не по сезону, электрического разряда. Мы вовсе не ощущали себя одним из разноимённых полюсов — мы, казалось нам, очутились прямо посередине воспалённо

под силу. А скорее даже не алкоголь, а наше южное, правда не южнее ихнего, служебное гостеприимство, особенно по отношению к экзотическим гостям — оно и в самом деле не знает границ. Демьянова уха: она ещё обильнее, когда течёт не из собственного, не из Демьянова, кармана. Представляю, как накачивали их в холодных, каменных подвалах казематах винсовхоза. Счастливые пытки в них выдерживали даже не все отечественные, причём не только районные, но и краевые, начальники, а уж они-то куда закалённее этих безусых барбудос.

Барбудос вывалились гуськом из автобуса и ошалело заметались в середине нашего каре. Да, весь интернат выстроен на торжественную линейку на асфальтированном внутреннем дворе, как на плацу. Сердца у девочек-старшеклассниц трепетали, как у пойманных райских птичек. Мы, их унылые, прыщавые и изрядно поднадоеvшие одноклассники, сразу подешевели в восторженных девичьих, райских глазах.

Во-первых, кубинцы всё же постарше нас, некоторые так и не совсем уж безусые. Во-вторых, они и впрямь смазливы: гибкие, с выраженными романтическими профилями, страшно черноволосые, а двое или трое так и вообще негры, что было особенно притягательным, поскольку ни одна из наших девочек ни одного негра нигде, кроме как в телевизоре (с экраном чуть больше спичечного коробка), не видела. А непоколебимый инстинкт самки, пробивающийся — в первую очередь почему-то к щекам — даже сквозь самые целомудренные покровы, гласит — или голосит: самое жизнестойкое семя — принесённое издалека.

То, о котором говорят: ветром надуло.

И, в-третьих, они *кубинцы!* И одно это уже давало им неоспоримую фору перед нами, м-е-естными, обыденными: о нас не писали в газетах, о нас не кричали по радио, о нас не слагал лихорадочные стихи сам Евгений Евтушенко.

Парни заметались, крепко кренясь то на одну сторону, то на другую, а то и на обе разом, в нашей серой, образцово-показательной мышеловке. А мы не могли понять, чего же они ищут: вот ведь мы! вот! — перед вами! На законном месте!

Некоторые из них так даже прыгали — то на одной ножке, то на другой, а то и сучили обеими сразу, как будто не на нашем щербатом асфальте скакали, а на панбархате Большого театра.

Сопровождавшая их пожилая дама, переводчица, сперва тоже заполошно мыкалась в их кругу, а потом, сложив ладони горсточкой на выдающейся груди, кинулась к нашим молчаливым, словно на Сенатской площади в декабре восемьсот двадцать пятого, шеренгам:

— Где?!

— Где?!

Что — где? Кто — где? — недоумённо переглядывались мы. Мы ведь тут, налицо, стоим, ни с места.

— Да туалет же, чёрт вас подери! — взмолилась тётка.

— А-а-а!..

— ...Где тут у вас уборная?

Оказывается, вон чего они прыгали и дрыгали!

Каре сломалось. Все ринулись показывать, где же у нас нужник. Сотни указательных пальцев, почему-то преимущественно мальчишеских, а не девичих, устремились в нужном направлении. Вообще-то, туалет рядом, просто находился наискосок, на полпути между школою и общежитием — чтоб в случае чего успеть с любого конца нашей тогдашней замкнутой, ещё не расширяющейся интернатской вселенной — и сразу его не разглядеть, хоть и был он весьма внушителен. Длинное кирпичное строение, крытое черепицей и с несколькими вытяжными трубами наверху. Никаких унитазов: просто сердечком вырезанные дырки в деревянном настиле. В час пик в нём умещалось, наверное, человек двадцать. Десяток с мальчишеской стороны и столько же, наверное, с девачьей. С нашей стороны никакой толчей: народец забегал, на ходу, ещё на улице, рассстёгивая ширинки, и так же споро, деловито выскачивал, ковыряясь, не глядя, всё в тех же ширинках, — молнии на штанах пришли позже. У девчонок же с заходом на посадку случались пробки. Исключительно воздушные: ни одна из них не хотела стоять в очереди, а, как бы прогуливаясь, они нарезали круги вокруг гальюна, дожидаясь возможности как можно незаметнее юркнуть в его дверь. Чудачки! — каждая из них при этом старалась проникнуть в туалет в момент, когда на его мужской половине никого не было.

А попробуй улучить такой момент: усыпься! И это при том, что и двери наши находились с разных сторон гальюна и никаких там противозаконных прорезей в кирпичной, до самой крыши доходящей перегородке не было — как и похабных надписей на стенах тоже. Мы были в меру деликатны по отношению друг к другу. И, мне кажется, основой, подушкой этой взаимной деликатности являлось то, что за каждым из нас, и за мальчиками, и за девочками, стояла своя беда. Беда большая, взрослая, на вырост, которая и привела каждого из нас на этот казённый интернатский двор. Наши беды нежно и молча соприкасались друг с дружкою, даже скромно проникали одна в другую, и это составляло некий подвижный, уязвимый и всё-таки в меру незыблемый понтон нашего межполового взаимного уважения.

У нас и в душу-то чужую не принято было заглядывать, не говоря уже о чужом очке.

Каждый из нас уже много такого повидал на своём коротеньком, куценьком веку, что обычные под-

ростковые поллюционные скабрезности нас уже особо не занимали.

...И молоденькие кубинцы, ведомые нашими указательными пальцами и своей пожилой пионервожатой, Василисой Кожиной, ринулись наперегонки к нашему отхожему месту. (Вот ещё что надо заметить в скобках: в армии мне доводилось мыть, драить наш — доштатый, а не кирпичный и уже безо всяких там перегородок — солдатский сральник. А вот в интернате никогда. Я даже не знаю, кто же это делал за нас: стало быть, взрослые, наше интернатское начальство, тоже были в известной мере деликатны с нами. Знали, догадывались, сколько ещё говна придётся выгребать всем нам в нашей последующей жизни.)

— Ах! — раздалось по каре девичьим разочарованным шёпотом.

— Ха! Ха! Ха! — вторили им ломающиеся баски.

Надо же: буквы и даже звуки одинаковые, только порядок другой, а смысл, смысл-то! Особенно с учётом ещё одного словца, пренебрежительно вычвирикнутого вместе со слюной кем-то, явно из замыкающих, младшеклассников, сквозь зубы:

— Ссыкуны...

Они были ненамного старше нас и тоже явно из простых. Кажется, их привезли — приволокли пароходом, почти бурлаками, за тридевять морей, — учиться на механизаторов в Григорополисском сельском профтехучилище, расположеннном в нашем крае. Просто взрослые хозяева предыдущего приёма, сами наверняка закалённые и закоренелые выпивохи, споили их как сосунков. Они вообще, безусловно, были хорошими — это видно уже по тому, как понуро и виновато возвращались барбудос из нашего интернатского галюна.

Эту битву, в отличие от Плайя-Хирон, кубинцы проиграли.

Девичьи сердечки лопнули было, как созревшие хлопковые коробочки. Но то, как возвращались, застенчиво и печально, эти юные инсургенты в наш, в общем-то, тоже не очень бравый круг, как бы вновь заштопало эти надтреснувшие сердечки — тоненькой шёлковой ниточкой.

— Ах!

Вторично это звучало уже совсем иначе: побеждённых кумиров женщины, особенно юные, только распускающиеся к женской жизни, любят даже больше, чем непобедимых.

Митинг перешёл почти что в братание. Во всяком случае, в обратный путь мы своих гостей подсаживали в «пазик» совместно с их непьющей переводчицей. Кубинцы оставили след не только в наших тогда очень эластичных сердцах, но и в головах тоже. И даже на головах. Они подарили — разумеется, девочонкам — несколько своих беретов, и береты стреми-

тельно стали элементом нашей школьной интернатской формы. Их даже закупили официально, и, появляясь в городе, мы выглядели юными геваристами. Правда, девчонки — юное женское сердце ещё эластичнее, чем просто человеческое, — подражали уже, по-моему, не только отъехавшим, налегке, своим кумирам, сколько уже самой Грете Гарбо, которая, как известно, ввела в моду этот экзотический для наших краев головной убор ещё до Че Гевары. Возможно, именно ей и подражал в своих джунглях легендарный Че: в двух этих гениях перформанса, на мой взгляд, всегда жило что-то общее.

* * *

Знал бы я тогда, что мне в жизни трижды придётся встретиться, нет, не с Че, но тоже с очень знаменитым модником, точнее — законодателем новейших мод — Фиделем Кастро!

И при таких разных обстоятельствах...

О моде и модниках. Недавно услыхал — и увидел, — как по ящику один экстравагантный, с писклявым бабским голосом, телеведущий объявил, что мужской галстук в XXI веке умер. Это так — их носят сейчас всё реже даже на официозных раутах. Но я, вообще-то, знаю и конкретного убийцу галстука.

Это — Ахмадинежад, бывший мэр Тегерана, потом президент Персии, сейчас, по-моему, преподаватель Тегеранского университета. Спокойно разъезжающий — это после бронированного лимузина — в общественном, по-азиатски переполненном троллейбусе (последнее действительно нонсенс: обычно руководители такого ранга после отставки с просто бронированных членовозов пересаживаются на супербронированные: безопаснее). Стойкий оловянный солдатик в борьбе с американцами, он, кажется, первым и объявил войну этой «западной удавке», введя в международную моду белоснежные рубахи со стоячими воротничками с перламутровыми пуговицами. Косоворотки, наподобие солдатских гимнастерок эпохи Второй мировой, которые, будучи на действительной, застал на своём веку и я.

Бунтари придумывают что-либо в пику общепринятым. В первую очередь — буржуям. Респектабельные буржуины же потом спокойно перенимают вчера ещё эпатирующую чужую и чуждую моду. Кто-то же должен двигать их вперёд! В отличие от пчелы, они берут свой жирный взяток, от века положенный им ясак, не различая ни цвета, ни цветов.

Вон: боремся с «игилом», а на мировых и европейских «мундилях», где на поле бегают исключительно миллионы, сплошь и рядом — игильские фундаменталистские модные бороды...

Всё полезно, что в рот полезло...

Итак, первая встреча с Фиделем.

Семьдесят первый, май. Возвращаюсь с армейской службы домой, в Ставрополь. По пути заезжаю в Воронеж, где нёс службу недавно призванный мой младший брат. Сам я юнкер в военной форме, с лычками старшего сержанта на погонах и с такими отметками в воинских документах, что ни один патруль меня остановить не имеет права: последнее время в армии мне доводилось перевозить поездом в большие московские штабы из мест строительства подземных ракетных пусковых шахт сверхсекретные документы. Брат же служил в технической обслуге местного военного аэродрома. Заявившись прямо в штаб его части, я договорился об увольнительной для него до конца дня: вечером, в ночь, уходил мой автобус дальше на юг. Брата отпустили. Правда, его начальник, офицер, обречённо сказал ему на прощание:

— Напьётесь ведь, родственнички...

На что, в свою очередь, братец мой, видимо, даже прищелкнув каблуками, браво возразил:

— Никак нет, товарищ капитан! Брат у меня коммунист!

На что капитан Аксельрод — брат навсегда запомнил его непривычную революционную фамилию — юнкер обречённее махнул рукой:

— Тем быстрее напьётесь...

Династический меньшевик, наверное.

Революционеры, даже меньшевики, что бы на них ни несли, много чего понимают в этой жизни.

Разумеется, он был прав. Иначе б чего я его, брата, не видавши два года, вызывал?

Выпить решили в офицерской столовой, унылой и длинной, как казарма, располагавшейся в центре города.

Спиртное в столовой не продавали. Но оно у меня с собой: ведь юнкер заехал по пути к своему сослуживцу Валерке Иванову, уволившемуся по здоровью намного раньше меня и работавшему мастером-аппаратчиком в Тульской области, на Болховском химкомбинате.

Для профилактики химических аппаратов тогда положен был чистый, «не химический», спирт.

Для человеческого душевного аппарата он, как вы знаете, не менее целителен. И Валерка на прощание снабдил им меня с походом. Мы взяли в столовке самый роскошный, действительно офицерский обед. Правда, офицантки удивились обилию компотов на наших подносах: стаканов по пяти.

Стаканы были в темпе ополовинены и долиты чистым, «аппаратным», спиртом.

Обед затянулся. Никаких воронежских достопримечательностей я в тот день не увидал. Да и сложно было бы мне их разглядеть. Мушка сбита.

Но одну, главную, воронежскую достопримечательность того дня мы с братом всё-таки увидали.

И как увидали! — прилипнув носами к оконному стеклу офицерской харчевни.

Ибо как раз в это время по этой самой улице проезжал Фидель Кастро.

Спьяну мне показалось, что он тоже не очень трезв. Ехал в «Чайке» с откидным верхом, стоя и держась за никелированный поручень, словно принимал парад воронежских подданных.

Рослый, молодой, но уже бородатый и величественный, как Моисей.

Осипом Мандельштамом дано великолепно точное и яркое определение: муравыная борода.

Муравьи, составлявшие патриаршью бороду Фиделя, молодо, зернисто смуглы, чисты и невероятно породисты. Прямо как пчёлы, нежно облепившие своего пасечника в сетчатом куклуксклановском на-комарнике.

Странно: в момент проезда Фиделя в дверях столовой появились два вышибалы, которые, вопреки своему явному предназначению, никого не только не вышвыривали на улицу, но даже и не выпускали из столовки вон. Народ столпился в проходе, причём в основном военные, в форме, но двое в штатском решительно давали этому служивому народу от ворот поворот — внутрь! Я пытался показать своё грозное удостоверение, но брат, видимо, всё же более трезвый, чем я, вовремя одёрнул меня: мол, этим лучше ничего не показывать. А то и тебе покажут — кузькину мать.

И мы с ним прилипли к окну. И, мне кажется, именно нашим свирепо распластанным носам Фидель в последний момент сделал фирменный приветственный жест:

— Родина или смерть!..

Ну, конечно же, Родина, чёрт возьми, тем более что на родине с маленькой меня уже ждала тоже маленькая-маленькая, крохотная юная — дочечка.

* * *

Потом дважды увидал Фиделя, кажется, в 78-м, на Всемирном молодёжном фестивале. Том самом, на котором нынешний английский премьер возглавлял скромную делегацию своего, куда более обширного по сравнению с «Островом Свободы», острова.

Будем считать, острова — Несвободы.

Фидель произносил речь у памятника Хосе Марти. И мы, многотысячной толпой, в большинстве своём ни слова не понимая и едва не падая в обморок от зноя, не столько слушали его, сколько наблюдали, забавляясь его гротескной мультипликацией. А после в парке возле «Тропиканы», в свете электрических огней, которыми была коронована каждая, даже самая захудалая здешняя пальма, полночи пил с нами, опять же с многотысячной толпой, кислое местное пиво.

В 89-м же я уже работал в аппарате Горбачёва и прилетал на Кубу вместе с ним.

Теперь уже никто не дал Фиделю говорить три часа кряду. В здешнем беломраморном дворце съездов и разных прочих исключительных хуралов он выступил с почти что рутинной речью и держался с Горбачёвым скорее просительно и даже застенчиво, чем брутально. Горбачёв же выступал дольше обычного и даже больше обычного жестикулировал и вообще старался говорить как-то резче, выразительнее, явно подражая Фиделю прежних лет и давал понять, ху ис ху теперь на мировой революционной арене. Мол, прима сменилась, да здравствует новая, юная прима! Да и речь его написана помощниками-международниками позажигательнее и пафоснее обычного. Впрочем, М.С. никогда и не держался за кем-то написанное как за святыи. Собственная устная речь уже сама по себе увлекала его, тоже южанина, хотя и более скромных широт, и уносила в невнятные миражи импровизаций.

Помощники, правда, только втихомолку морщились, переглядываясь друг с другом, в первых рядах внимающих молодому, по тогдашним меркам, генсеку. Упругому, порывистому, хоть и полнеющему уже, но скорее силой, чем туком.

Правда, по мне, так горячечная невнятница Горбачёва конца 80-х — начала 90-х теперь, сегодня, вылезает, как это было и с Вангой, горькой, жестокой и даже трагической — *правдой*.

Вполне вероятно, что он не умел говорить на мировом уровне: ясно, определённо, по-столичному. Но ещё очевиднее, что его не умели слушать — и тоже на мировом уровне.

Кто не умел, а кто — из единиц, имеющих абсолютный политический слух — и не хотел.

У Пушкина имеются известные строчки насчёт Петербурга и Москвы: «И перед младшею столицей / Померкла старая Москва, / Как перед новою царицей / Порфирионосная вдова...» Мы, сопровождавшие Горбачёва, с восхищением и азартом смотрели тогда из переполненного, странно бескостюмного, в одних белых рубахах с короткими рукавами — в то время, как мы-то все, по советской традиции, преимущественно в чёрном, да и ещё при галстуках-удавках — беломраморного зала на своего вождя. На фоне дряхлеющего Фиделя (на ум приходила и аналогия с Брежневым) он действительно казался вестником нового, молодого дня. К слову говоря, в той же поездке он дал понять, что Кубе надо в большей степени опираться на собственные силы. С того момента и началось сворачивание нашей помощи «Острову зари багряной», как и сворачивание, сухим нейлоновым чулком змеиной шкурки, самой нашей с Кубой дружбы. Кубинцы в зале, кстати, чутко уловили это и даже хлопали Горбачёву с некоторой растерянной на-

стороженностью, строго дождавшись первого хлопка длинных, сухих, адвокатских ладоней Фиделя. Фидель и сам подрастерян, разочарован, по-старчески, как уезженная батарейная коняга, воротил голову из президиума в сторону трибуны, на которой льдисто блестал Горбачёв, и даже порой приставлял уже просвечивающую свою ладошку к сухому уху. Да иначе и быть не могло: ведь мы на полных парах шли на сближение с Америкой, к единому, как нам казалось, «общечеловеческому» миру.

Ну кому ж тогда не было ясно, кто тут восходит, взлетает, а кто натура уходящая?

Мне даже показалось, что сами кубинцы, среди которых большинство конечно же функционеры, нам позавидовали: у нас такой молодой и задорный, у них — задорный, но, как бы это поделикатнее выразиться, пожилой. Поддержаный.

И вот прошли четверть века. И кто, скажите мне, оказался в этой сбойке вечным (хотя и насквозь проставевшим, прохудившимся, как старый медный тазик) женихом Революции, а кто порфирионовым вдовцом?

В том числе и в прямом, печальном смысле слова. Неисповедимы пути Господни.

А человеческие — потому — и ещё неисповедимее.

...Возвращались с Кубы через Лондон: Горбачёв, экономя время и деньги, любил такие вот «совмешённые», как санузлы, параллельные визиты. И тут, в волглой лондонской осени, меня настигла расплата за мой шерстяной, хотя, правда, и белый костюм, в котором я и наяривал в тропической гаванской жаре. Со мной, по-стариному говоря, сделался жар, под сорок. Кожа стала варёной, красной, её обсыпало какой-то тифозной сыпью. Горбачёвские врачи, сжалившись, спасали меня в гостинице. Я потом даже поразился — когда пришёл в себя, — каким простым, бабушкиным способом: супрастином и цинковой пудрой.

Вот вам и волшебная, строго засекреченная «таблетка Политбюро»!

...Да, чуть не забыл: когда какое-то время учился на дневном отделении Московского университета, жизнь подарила мне ещё одного кубинского революционера. Мигель, по-моему, как Сервантеса, звали его. Жили с ним в одной общежитской комнатёнке на Мичуринском. По ночам он подрабатывал в пекарне. И под утро всегда заявлялся с грудой свежих, пахучих батонов под обеими подмышками. И весело совал мне, сонному, их в рот, как молодые матери бесстыдно суют своим младенцам голую, пышную и, наверное, очень пахучую грудь.

Маленький, чернявый, вертлявый, очень смешливый Мигель, из всего испанского которого — мы тогда учили испанский, думая, что впереди нас ждут

именно «испанские», точно уж не американские (увы) времена, — я помню сейчас только одно слово:
— Фанчулла!..

Девочка!

Так он называл не только собственных девочек, девушек, женщин, дебелых старух, но и французскую булку, которую щедро и весело совал мне в рот по ночам...

* * *

Матерь Божия, какой же я неорганизованный писатель! Я ведь начинал — о смотре художественной самодеятельности. Точнее, о поездке на этот краевой смотр в Ставрополь. Мы ехали на автобусе «Икарус», «баклажан» по непривычной для меня, не степной, не пустынной, а зелёной и холмистой, с речками и буераками, сторонке Ставрополья. Дорога просёлочная, пыль вилась столбом, но и пыль тут другая, не такая как у нас, на юго-востоке края, в Ногайской степи. Нет в ней нашей ядовитости и все-проникаемости, нет в ней нашей настоящности на крепчайшем зное и суховеях. Она даже не скрипит на зубах, а просто ложится на них каймой чуть горьковатого шоколада. Пыль скорее лесная, жирная, медоносная. Наша — порох, а эта — порошок. Прах. Едем уже несколько часов. Собственно говоря, я в этом баклажане — сбоку припёка. Из интернатского хора меня выперли по причине не полного отсутствия слуха, но наличия какого-то непобедимого, невытравимого трубного гласа. А к самодеятельности я цеплялся исключительно для того, чтоб чаще видеться с девочкой Леной, «фанчуллой», в которую был тайно — мне казалось, что тайно, но об этом, кажется, догадывался (уже по одной моей роже, когда я оказывался подле неё) весь белый свет. По правде говоря, видеться с нею не составляло труда: мы ведь учились в одном классе. Но я хотел, мечтал, жаждал видеть её и вне класса, и днём, и ночью, и — всегда. И желательно — вечно! Мне её позарез не хватало, мне её всегда было мало. Поэтому и приплёлся в самодеятельность, где она одна из первых актрис. И, разумеется, красавиц.

Красавица, на мой взгляд, так точно — первая!

Из хора меня выперли, но поскольку окончательно, бесследно я никак не выпирался, так и отидался возле самодеятельности, то и мой природный индивидуальный недостаток решили использовать во благо обществу. Я стал объявлять «номера». Тут ведь никакого слуха не надо, а горло у меня фамильное.

Если что-то объявлял, в задних рядах срывало фуражки.

Таким голосом только войну объявлять. Мир — голосом Анны Герман, а войну моим, правда тогдашним.

Народ падал со смеху, подбиравая с полу фуражки и береты. Но «номера» врезались в память на долго.

Девочка моя сидела в автобусе в первом ряду. Но ряд этот, по существу один, цельный диван, развернут внутрь салона. То есть она с подружками сидела спиной к движению. Я же сел на такой же диван, но с противоположной стороны автобуса, сзади, лицом по движению. И прямо в проходе — чтоб только лучше видеть её. Это было неожиданным счастьем: все пять, шесть часов пути наблюдать её, почти что не таясь! Глаза в глаза.

Глаза у неё чудесные: круглые, карие, со вспыхивающими золотыми чаинками в них. Признаться, они снятся мне до сих пор. Я сдуру так преследовал её своим неотвязным прилипчивым взглядом (так хотелось объясниться в любви! Хотя уж она-то об этой любви, над которой смеялись все и в классе и в хоре, знала лучше всех. Моя любовь не давала ей прохода: это как привязчивая собака — и надоела, и прогнать лень: вдруг ещё пригодится), что она иногда демонстративно хмурилась и отворачивала лицо в сторону.

А я блаженствовал! Ни ухабы, ни насмешки и подзадоривания соседей-попутчиков, ни пыль, ни треск мотора прямо за моей спиной, — ничего этого не видел, не слышал и не осязал.

Я заворожённо впивался в её глаза, я, собственно говоря, и ехал, и жил, и дышал не тут, в набитом автобусе, а в них, в их карем космическом округлом пространстве. Один-единственный. Не очень разумный. В двух юных человеческих полушариях.

Мне кажется, что я тогда через эти её нежно дымящиеся отдушины влез, как могильный червь, ей прямо в душу.

И сжался там в комочек. В зародыш.

Интересно, помнит ли она меня?

Должна помнить: ведь *обратно* окончательно я так и не выбрался.

А впивался, вливался и всачивался в неё ещё и потому, что помнил, заметил: там и тогда, на нашем интернатском плацу, она зазывнее и заливистее всех смеялась *навстречу* молоденьким, чуть старше нас, красивым кубинцам в белоснежных рубахах революционеров, жертвенная и потому притягательная кровь на которых могла только угадываться юным девичьим воображением.

Наверное, ей хотелось несбыточного. Хотелось полёта. Я же летел теперь наяву, и мне хотелось теперь только одного: чтобы Ставрополь был ещё дальше края света...

Матерь Божия: прошло больше полувека, а ощущение это всё ещё живёт!

Тоже — эмбрионом. Так и не выродилось окончательно.

Взлёт и посадка, или 1 мая 1960 года

Гэри Пауэрс был сыном сапожника и всю жизнь стеснялся этого. В элитных лётных частях, в которых он служил на пике своей воздушной карьеры, считалось, что дети сапожников высоко не летают — тут обретаются отпрыски благородных фамилий, чаще всего бухгалтерских, коммивояжёрских, а то и почище. А он — со свинымрылом да в калашный ряд.

Видимо, в элитных лётных частях, в которых служил капитан Гэри Пауэрс, плохо знали биографию Иосифа Сталина.

Так, и по сей день, не сбитого лётчика.

Мой друг Ваня Карабанов был сыном неизвестно чьим. Скорее всего, сыном самой Советской власти. Это ведь только по грамматике она женского рода, а в натуре вполне себе двуполая: рожать способна без постороннего сопливого вмешательства.

А что касается уничтожения, то тут постсоветские разномастные власти ещё самостоятельнее.

Ваня — детдомовский.

Ему даже сапожника, чёрт подери, на роду не досталось. И фамилию свою получил по деревеньке, в которой располагался его первоначальный, колыбельный ещё приют, куда Ваня был доставлен, кулёчком, приютским сторожем, списанным вчистую, поскольку без ног, с грохотавшей неподалёку огромной, вполмира, войны. Доставлен прямо с приютских порожек — так на Руси испокон веку оставляют на чужих порогах что-то совершенно лишнее. Ненужное.

Ваню, видать, положили ещё с вечера, как сажают с вечера хлебы в русской же печи. Но сторож, поскольку безногий, сторожил приют, не сходя с места, сидя, изнутри самого приюта — да и кому они нужны, кто на них покусится, на этих подкидышей неизвестных кровей, среди которых были уже наверняка и немецкие, потому как война уже дважды проходила, проползала танковой гусеницей через деревеньку туда и обратно? И немцы таки успели попользоваться здешними пепринами и даже наперниками, как и их замордованными владелицами — потому и детей даже выглядками не назовёшь, ибо зарождались, зачинались они не по желанию, а по насилию — прежде чем большинству из них, немцев, вышла замена даже более полная, чем ополовиненному русскому сторожу.

Сторож стерёг своё — а чё же ещё? — дармовое, сидя изнутри, выползая наружу лишь по малой нужде, а нужда на сей раз приспичила только к утру.

А сколько пришлых, чужеродных бабёнок, беженок проносило через деревеньку то туда — под грозной дланью войны, — то обратно? Сама война как будто бы и катила не на своих железных ступицах, а

на них, на этих несчастных, мотыляющихся под её непосильной ношней, в каковую входили ещё и жалкие их узлы и ещё более жалкие — и ещё чаще, чем узлы, теряющиеся, их дети — на этих полуживых перекати-поле.

Может, кто-то из них, из перекати-полей, и оставил на холодных деревянных порожках этот свой самый дорогой, единокровный и тоже хладеющий, непосильный уже оклуночек?

Вот тебе Бог, а вот — порог?

Надо сказать, немцы приют не тронули. Ни когда вальяжно двигались в одну сторону, ни когда кроваво влачились обратно. И даже подкармливали помаленьку, оставляя всё на тех же порожках жестянку то с консервами, а то и со сгущённым порошковым молоком. Так в приличных домах кормят бродячих котов, выставляя на пороге, как на кончике ножа.

Когда обратно, так даже больше оставляли: не то вещмешки свои облегчая, не то... — чуяла, чуяла собака (немецкая овчарка?), чьё мясо съела!

Так и выходили, подняли Ваню. Будто тогда уже знали, кто именно со временем нечаянно отомстит их тогдашним противникам за открытие Второго фронта.

Имя Ваня получил с потолка, самое ходовое, ну, не Вениамином же его называть, а вот фамилию — действительно по-барски, по-графски.

Карабановка — фамилия деревеньки.

Немало приютов, детприёмников и детских домов поменял Ваня Карабанов на раннем своём веку. Немало поколесил — тоже перекати-полем, как крохотный вестник большой беды — по России-матушке. (К слову, та, изначальная, колыбельная деревенька его ныне опять очутилась посерединке горькой, горше той, мировой, войны, поскольку теперь война разразилась не промежу двух миров, а посреди одного, православного, но с куда более губительными поражающими возможностями — исходя из её особенностей, полагаю, что приют тот Ванин, колыбельку первую его, на сей раз уже точно не помиловали, снесли.)

Кто-то и тогда рос, взрастал сквозь Советскую власть, как сквозь асфальт. Для Вани же она была материнской. Власть не разменивалась на разносолы и шоколады, но по мере Ваниного роста вправляла его то из дома ребёнка в дошкольный детский дом, то из дошкольного в детдом-восьмилетку, то в ремесленное училище, где учили сперва на сцепщиков вагонов, а потом и на составителей поездов.

То в армию.

Хотя до армии Ваня мог и не дорасти: когда мы с ним, уже через несколько лет после его армии, познакомились, в нём насчитывалось не больше метра шестидесяти. Ведь власть и родных своих детей кормила с порожек.

С ножа.

Ваня носил суконную чёрную шляпу — чтобы никто не сказал, что метр с кепкой — и пальто с широкими, подкладными плечами. В этом своём филёрском облакении он напоминал мне маленького Лаврентия Беррио. Только вместо бериевских, по-киношному бликующих очков у Вани — нет, не сияли, дымились, печально курились чёрные, бархатные — явно другой (может, импортной, немецкой?) материи, нежели пальто и шляпа, огромные глаза.

Вынесенные, как я понимаю, из его фамильной, кольбелльной, дотла сгоревшей Карабановки.

Мы с Ваней вместе заканчивали вечернюю школу рабочей молодёжи. Потому как со мной Советская власть уже так не цацкалась: Ваня ведь был военных, скупых на рождаемость лет, а я уже послевоенный, нас уж поболе, да и Магнитка-целина были уже позади, в народе даже избыток наметился. И путь ему, народу, уже нарезали в обратную сторону: мой интернат из одиннадцатилетнего сделали восьмилеткой и доучиваться последний год мне надо было либо где-то, у чёрта на куличках, в чужом детском доме, либо где сам пристроюсь.

Я и пристроился — в вечернюю школу в том же родном Будённовске.

Ваня же, продолжая свой злаковый путь наверх, к солнцу, собирался поступать в Институт путей сообщения, и ему тоже необходимо было законченное среднее образование.

Так мы и встретились. За одной партой, за которой он выглядел школьником, Филиппком, зато на моих коленях она горбилась так, словно это не я на ней, а она на мне сидела...

* * *

Сергей Хрущёв был сыном своего отца Никиты Сергеевича Хрущёва.

Не знаю, чьим уж там сыном был сам Никита Хрущёв, но в течение восьми лет, — с пятьдесят шестого по шестьдесят четвёртый, он помимо всего прочего являлся ещё и отцом одной шестой части суши, а значит, в известной степени и Вани Карабанова.

Первого мая 1960 года родной отец, Никита Сергеевич, и — назовём его так — сводный брателло Ваня Карабанов, которого страна, можно сказать, в подоле принесла родному Никите Сергеевичу, здорово подгадили сыну и брату — Сергею Никитовичу.

Не знаю, отдал бы 1 мая 1960 года, прямо с Мавзолея, Никита Сергеевич свой знаменитый приказ относительно слишком высоко таки взлетевшего сына сапожника Гэри Пауэрса, если бы знал наперёд, что единственный уцелевший сын его будет доживать в Америке и самый строгий вопрос к нему со стороны комиссии по натурализации иностранных граждан прозвучит, возможно, так:

«Как вы относитесь к отцовскому первомайскому выстрелу?»

Хотя выстрел, строго говоря, был вовсе не отцовским, а Вани Карабанова.

Неведомого брата.

Сын сапожника Гэри Пауэрса, правда, взлетел, чертяка, так безобразно высоко, что стрелять пришлось дважды.

О чём, к слову, долгое время не знал даже сам Генеральный прокурор Роман Андреевич Руденко, судивший, правда, не Ваню, а Пауэра.

И остальная страна, разумеется, тоже очень долго не знала, что выстрелов, точнее, ракетных залпов было два.

Знали только несколько человек, сынов, так сказать, Родины, включая самого Ваню. А с некоторых пор, когда мы с ним подружились, как колодники, за одной партой, под страшным секретом — от самого Вани — узнал и я.

Залпов оказалось два по двум причинам. Первая самая что ни на есть объективная. Наши, отечественные, сыновья сапожников-маляров-трактористов летали всё-таки ниже американских бастардов. «Миги»-перехватчики, от самой Кушки ведшие американский «Локхид», никак не могли достать его. Снять. Потолок у спецлокхида был двадцать две тысячи метров, а у наших перехватчиков не более семнадцати тысяч. На какой-то миг нарушитель и перехватчик образовали на локаторе одно целое. Совместились периметрами. Из двух точек, из двух мушек на экране образовалась одна. Стрелять же надо было незамедлительно: дежурный генерал у специально разворачиваемого в праздники на Мавзолее проводного телефона — все на Мавзолее величественно стояли, а этот, генерал, обычно тупо сидел у массивного аппарата с гербом на лбу на складном — сапожном! — стульчике и потому его, вместе с телефоном, со стороны, даже по телевизору, видеть никто не мог — этот генерал уже стоял, скрючившись, на низком стапте, готовый в одну секунду подскочить к недавно назначенному министру обороны Родиону Малиновскому.

На котором, вообще-то, лица не было...

Картина на Урале, на уральском скальном Мавзолее была зеркальная.

На разёрнутой зенитно-ракетной батарее над скрючившимся у экрана локатора командиром расчёта застыл офицер аж из штаба округа, намертво вцепившись сержанту в плечо. На московском, гранитном Мавзолее, невидимый дежурно ликующей публике, примерно в той же, сержантской позе замер, скрючившись у телефона, как у экрана локатора, генерал с сумасшедшими звёздами на золочёных по слуху Первомая погонах. А в позе офицера штаба, единствено только на некотором расстоя-

нии от *аппарата*, вылединился, ни жив ни мёртв, аж целый маршал.

Глаза у Никиты, почти что с отеческой слезой, обращены к ликующим демонстрантам, а вот уши — даже не на макушке, а прямо-таки на затылке!

* * *

...Больше всего на свете Никита любит стоять на трибуне. Человек на трибуне — это пупок, к которому стянуто всё, что есть живого, сущего и трепещущего у её подножия. Особенно если ты за трибуну — Главный. Если не только от слова твоего, золотого, но и от одного взмаха руки подножье — стекленеет. (Год назад в ООН его, честно сказать, на миг так обескуражило, что он даже хватанул, заходясь в дурном своём раже, по трибуне кулаком, а никто вокруг, кроме Андрея Громыко, по чьей непробивающей физии всё равно ничего путного не поймёшь, не онемел: зареготали, черти, никто даже со стула от страха не хлопнулся.)

На трибуне он — памятник самому себе. Самые величественные минуты своей жизни переживает на этой приступочке. Правда, и самые мучительные, когда ты тварь дрожащая, тоже. Слишком долго выходил он к разного рода трибунам — не главным.

Под устало, старицковски смежённым, но грозно кошачьим взглядом Главного.

Человек на проволоке, переходящий поверх голов чужую улицу, — Никита столько лет проходил над этой пропастью туда и обратно, что это самое, подлое чувство пропасти (с трибуны спускался, отирая, как рушником, сразу насквозь взмокшим платком свою смолоду объявившуюся лысину — она, пожалуй, со страху и выпрела у него до всяких сроков) въелось в самую душу.

«Корова! На главном балконе Отечества!» — напишет гениальный Маркес.

Так и Хрущёв в присутствии Сталина чувствовал себя неуклюжей коровою. Бурёнко. Пустили Дуньку в Европу, она показала Европе жопу... Сталин стоял, маленький, как съеденный временем ножичек, тщедушный, в своей заношенней бухгалтерской фуражке с твёрдым козырьком, на котором аэроплану впору приземляться, а то и в солдатском треухе, с вечной своей носогрейкой, щурясь вполглаза на бесновавшиеся внизу, у подножия, в заученном экстазе толпы. Счетовод, завхоз на скотном своём подворье... А надо же — влит в мраморную трибуну, как муха в янтаре. Как в собственную вечную свою шинелишку.

Как капельная, но тяжкая пулька в убойном стволе.

Чуть сдвинется, разминая — нередко в валенках, снизу не видно — затёкшие ноги, в сторонку — остальной «президиум» валится в ту же сторону, как косой подкошенный. А взмахнёт ненароком усыха-

ющей своей десницей, нередко прямо с зажатой в ней носогрейкою, так там, внизу, в долине — а может, это и есть пропасть? — восторженный рёв до небес взметнётся и шапки летят чуть ли не с головами вместе.

Этот недовесок, обсевок умудрялся даже на памятнике — архитектуры — оставаться памятником. Самостоятельным, автономным. Несмотря на всю свою нацменскую незавидность. Великоросс и тяжеловес Хрущёв же, даже ставши *главным*, оставался не то что не из мрамора и даже не из гипса, — из глины.

Характера не хватало? Или потому что внизу — уже не скотина? Уставшая быть послушно дрожащей скотиной?

Сырая, наспех, заготовка куце и толсто торчала на Мавзолее.

У того, чёрт возьми, ни одна жилка, мраморная, не дрогнет, у этого же, с виду битюка, нутро — полое. Как у никогда не рожавшей бабы. Пугливое. И пугливость эта жирною тряски, смехуёчками, взбалмошной, не по чину, жестикуляцией, даже здесь, на Главной Трибуне Отечества и даже в его звёздный час всё равно вылезает наружу.

Со свиным рылом да в калашный ряд: Хрущёв никогда не верил до конца своему счастью.

Сегодня он должен поставить всё на свои места.

Сегодня — обжиг. Нет, не в пятьдесят шестом, когда он в Большом Кремлёвском дворце сваливал уже и без того мёртвого истукана (честно говоря, по-рядком поднадоеvшего всем). Когда зал и вправду казался ему пропастью, над которой он грузною перебежкою, пугливой иноходью пресмыкался с одного берега на совсем другой, противоположный. А именно сегодня, в праздничный, чёрт подери, день, он и должен родиться заново!

Не просто Первый секретарь, а — Вождь.

Сталин по фамилии Хрущёв. В конце концов ведь «Сталин» — тоже псевдоним. Пусть и у Хрущёва отныне псевдонимом станет — «Хрущёв»!

Именно сегодня он свалит его окончательно. Смена караула! В шеренги выстроенная толпа внизу ещё не знает, кого она приветствует на трибуне.

Хру-щё-ва!

Нового, нет — новейшего отца нации. С сегодняшнего утра.

Но внутри всё же подташнивало.

Мало того, что обнаружили поздно, но в целом военном округе, Среднеазиатском, просрали. Не достали! — Никита скрипнул мелкими, грызунами, зубами. С самого подбрюшья Урала тоже, стервец, идёт именинником. Не достают, не достают его наши перехватчики! Вот он, Родион, ни жив ни мёртв, стоит, не по чину, рядом, робко касаясь плеча. Чтоб, если что, мгновенно шепнуть новость в заволосатевшее ухо Вождя. Ма-аршал, бляха-муха. Небось уже и за-

был, как во Франции чужие огороды копал. Напомню — попробуй только дать петуха! А вообще, напрасно, наверное, выгнал Жукова. Уж у того-то, солдафона, плечо потвёрже было. Оставайся он, пусть и не министром обороны, а тем же командующим Уральским военным округом, и то спокойнее бы ты, Никита, стоял сейчас на этом мраморном постаменте. Этот бы — достал. Руками бы, подлец, фанфарон, Наполеон доморослый дотянулся аж до горла...

Никита, помахав предварительно чинно беснующимся трудящимся, потрогал опасливо и собственный кадык. И сюда бы, неровён час, мог бы дотянуться, достичь...

Взгляд его, перемахнув через демонстрантов, упёрся аж в Лобное место. Да, при Сталине их действительно было два: одно там, где Минин с Пожарским, а другое — там, где Сталин. Хоть и в чиновной толпе, но — сам с собой.

Мавзолей — тоже Лобное место. Ничего, ничего, это мы им, со-рат-ни-кам, — Никита по-воловыи повёл взглядом окрест себя, где стояли ещё ничего не знавшие о драме в советском небе и покамест ещё твёрдые в коленках кандидаты и полные члены, — теперь тоже напомним! Чтоб не забывались. Не хлопали запанибрата по плечу.

Дабы окончательно изгнать тошнотворную пустоту внутри себя, в утробе или как там — в душе, надо сперва поймать её — в небе.

Никита, сощурясь, вскинулся взглядом в майскую московскую высь, как будто вражеский «Локхид», дальний предвестник Руста, уже шёл, издеваясь, над самой советской столицей, и где-то на уровне паха скжал до хруста кулак.

Попалась бы птица, мокрого места от неё в кулаке не осталось бы.

Эх, мямяла всё-таки Родион! — Никита краем глаза увидел, как к министру на полусогнутых, чтоб с площади не видно, пробирается среди кандидатов и членов штабной генерал, а тот, дурень, боится от него, от Первого, оторваться — нет бы рванул навстречу!

Место блюдёт: отвернётся, отскочит, а воротится — тут уже стоит некто с такой же, как и у него самого, кокардой во лбу.

Да, когда стоишь, *первым*, на Мавзолее, в твоей власти не только вот эта запруженная народом и твоими собственными парадными портретами площадь... Да, пожалуй, и не только твоя страна...

Родион наконец догадался. Сделал шаг навстречу посыльному...

* * *

Ване Карабанову очень хотелось в отпуск.

Впрочем, «хотелось» — не тот глагол. В отпуск хотели все. И не только из его зенитно-ракетного рас-

чёта, а из всей Советской Армии. И по сей день — хотят. Но Ване в отпуск было *необходимо*. Позарез.

Потому что у Вани Карабанова обнаружилась младшая сестра. И обнаружилась она так, как обнаруживается, прорезывается в вашей доселе пустой душевной полости кутний зуб: с сумасшедшей болью.

Боли даже больше, чем радости, потому что нашедшее в конце концов Ваню её письмо пришло из тюрьмы.

Ване позарез надо в отпуск, хотя за все почти что три года службы он ни разу не просил о нём — ему просто некуда и незачем было ехать: его дом, в фанерном чемодане с собственноручно обитыми, окованными железом углами, давно уже перемещался с одного казённого места на другое вместе с ним. Сестра-сестрица... Оказывается, пока Ваня Карабанов кочевал по детским домам и ремесленным училищам, сеструха его мыкалась по колониям для несовершеннолетних, пока не добралась наконец и до взрослой, хотя и женской, тюрьмы где-то в Мордовии. И вполне обвыклась, судя по *письму*, по самой его каллиграфии, с такой своей изначальной долей. Видимо, мать подольше попридержала её при себе и подкинуть просто никуда не успела. Поскольку сама неразборчивыми усилиями Люфтваффе, усердно осуществлявшими тогдашнюю логистику между небом и землёй, оказалась вскоре подкидышем. Не то в раю, не то в аду. Впрочем, для человека, очутившегося летом сорок второго под Харьковом, небесный ад по сравнению с земным показался бы раем.

Не оказалось на жизненном пути у сестры ни гнилого гостеприимного порога, ни безногого, неходячего сторожа. Принял её другой круг: из беспризорниц, попрошаек в воровки, из воровок в шмары и далее по восходящей.

Но одна ниточка оставалась в ней нетронутой, не подгнившей. От матери — нельзя сказать, что та умирала у дочери на руках, потому что дочь её даже окровавленную материнскую голову ещё удержать на весу не могла: она лишь испуганно, тоже кровавым последом, копошилась у неё в ногах, в материнском подоле — девочка запомнила, что у неё где-то остался старший брат. И, едва выучившись писать — для того, единствено, и училася! — стала сласть ему письма. В том числе из колоний для малолеток, из пересылок и даже из женской тюрьмы в Мордовии, где она одно, короткое, время сидела рядышком со столичной штучкой, дочкой Ольги Ивинской, любовницы поэта Пастернака. Мать, поскольку за любовь, перемогалась в более суровом лагере, чем дочка, которая тоже, похоже, была по-юношески влюблена в поэта; по-юношески, потому и получила по-ювенильному. (Любить поэтов на Руси всегда было особо тяжким преступлением, а нынче ещё хуже — просто банкротство, поскольку гонораров у на-

стоящих поэтов теперь ноль, поэтому больше таких полоумных, как Ольга и её дочка, нет и уже никогда не будет.) Дочь Ивинской и помогла грамотно — её грамота, конечно, другого сорта (всё-таки Литературный институт!), нежели колониальная грамотёшка хоть и юной, но уже бывалой сиделицы — составить очередное письмо. В данном случае роль сыграли, правда, не столько грамотность как таковая — Ванина сестрица тоже писала «корову» не через «а», — и даже не столько слог, — сколько правильно подобранный *адрес*.

Дочка Ивинской написала не на деревню деду (тому самому сторожу? — так его и кости, ополовиненные, давно сгнили), а сразу — *в органы*.

Уж дочка Ивинской по собственному, да и по материнскому, горькому опыту твёрдо знала, какой орган в стране самый детородный и самый же чадолюбивый: всех своих (и не своих тоже?) знает напречёт.

К тому же выспросила у девчонки, как называлось село, в котором, по слухам, оставлен был её брателло. И та, чудом, вспомнила: кажется, Карабановка! И дочка Ивинской — опять же литературное образование, предполагающее уравновешенный полёт фантазии! — поняла, что фамилия у парня может быть и совсем иной, чем у его сестры. Ну, а имя — какое ещё имя, кроме Ивана, может быть у подкидыши военных лет, не Адольф же?

Так Ваня Карабанов впервые получил в сестринском эпистоляре *собственную* фамилию.

А дальше уж было дело техники.

Органы действительно поимённо знали тогда всех, кто служил в только что созданных ракетных частях противовоздушной обороны.

И письмо Ваню нашло.

Первого мая тыща девятьсот шестидесятого года.

Ваня держал его в нагрудном кармашке гимнастёрки, где другие до затёкости таскали письма от многочисленных любимых. У Вани любимой не было: рост пока не позволял. Это позже девушки поймут, что рост и размер не совпадают даже у портных.

У Вани теперь любимая одна — сестра, которая, когда он рас простился с матушкой, ещё пребывала в её, материнском, чреве.

Ваня замыслил родить сестру заново. Для себя.

* * *

Хрущёв плотоядно, как волк в парную овечью плоть, впивался, счастливо окровавленной хваткою, в бурно протекавшую внизу людскую реку. Даже ямочки на щеках солнечно играли. Но краем глаза всё равно, с ешё большей хищностью, но уже без ямочек на щеках, следил за Малиновским. И обернулся к Родиону, забыв об организованно ликующих

внизу народных массах, как только тот сделал первое движение к нему.

— Ну?!

— Сбили! — прошептал Малиновский.

Хрущёв удовлетворённо, опять же по-волчьи, мотнул головой и поднял вверх, перед носом маршала, большой волосатый палец. Русское телевидение было тогда ещё в зачатке, но жест этот грамотно уловило.

Народные массы посчитали, что они очень нравятся Хрущёву.

Да в общем-то так оно и было. До Новочеркасска ещё оставалось время.

Хрущёв лихорадочно соображал, как он сейчас всенародно сообщит об очередной победе советского оружия и строя.

* * *

— Ваня! — чрезвычайно задушевно, хотя и с до крови закусенной губою, обратился к моему будущему однокласснику по вечерней школе рабочей молодёжи сумасшедше старший офицер. — Ваня!.. Первый расчёт промазал...

— Не может быть, — удивлённо ответствовал обыкновенный старший сержант, не отрываясь от экрана и даже не оборачиваясь на невероятного размера звезду, просительно склонившуюся над узеньким и унылым, хлопчатобумажным горизонтом солдатского плеча. — Не может быть, я же вижу...

И тут же увидел, что увиденное — ошибка. Точка на экране исчезла, а потом, как ни в чём не бывало, возникла, возродилась вновь и потихоньку, тлёю, поползла вон из того квадрата, где мгновение назад должна была быть уничтожена. Безвозвратно.

Ваня Карабанов, дёрнувшись цыганским чубчиком, смахнул пот со лба.

* * *

Я вот думаю, ну почему почти все дети советско-российских первых руководителей жили, вернее, доживали и живут за рубежами нашей грустно видоизменяющейся Родины?

Причём преимущественно — в стане былых врагов своих отцов...

Светлана Аллилуева и Сергей Хрущёв прекрасно знали друг друга. В Москве. Но, оказавшись в Америке — Светлана после нескольких перевалочных пунктов, — предпочитали друг с другом не зваться.

Но это бог с ним, точнее, с ними: не по хорошу мил, а по милу хорош.

А вот почему удрали? И не только они.

Первые руководители страны служили — или старательно делали вид, что служат — идеалам. Идеалы же всегда состоят в противоречии с инстинкта-

ми. Намытое, извне привнесённое, чуть ли не романтическим потусторонним и слабо заразным ветром надутое, — с родовым, натуральным, даже науралистическим и подспудно неистребимым. Корь эта иссякает, как правило, на одном поколении, если не на одном-единственном индивидууме.

В силу множества объективных причин страна наша такова, что на самую верхушку в ней восходят исключительно идеалисты. Или — неотличимо мимикрирующие под них.

Но уже на детях, не говоря о внуках, наносная, счастливая и скоротечная «зараза» пресекается. Уже они подозрительно быстро выздоравливают от этой блажи. И грубо мстят предкам и даже пращурам.

Простое и простейшее человечество со временем она почему-то страждёт болезни и выбирает её потенциальных переносчиков (или тех, кто безупречно рядится под них). Непривитых. Дети же непривитых почему-то стремительно получают сумасшедшую вакцину от идеализма. И со временем выбирают то, что исподволь, но неумолимо диктует им позвоночный столб. Чувство самосохранения, комфорта, умеренного потребительства и материального довольства... Свободы — в первую голову от постылых уз официозного идеализма.

Дети идеалистов — материалисты в кубе. Аз — отмщение.

Не знаю, как там насчёт других, но сам автор этих строк на своём, уже немалом, веку видел единственного русского высшего руководителя, которому смеяли возражать его ближайшие сподвижники. И почему-то именно его, этого руководителя, потомство до сих пор не сбежало за кордон идеализма. Нет ли тут какой-то странной связи?

А ведь как выталкивали!

В скобках следует заметить, что у детей *первостатейных* идеалистов всегда имеются в распоряжении почему-то все материальные возможности жить где захочется.

Миром движут идеалы, но спасают его инстинкты.

Вани же Карабановы сидят, как Ильи Муромцы, на одной и той же печи. Их и сегодня возможно взять там, где их посадили, бросили, подбросили вчера — скажем, на давно сгнивших детдомовских порожках.

* * *

До рези в глазах вглядываясь в экран, мой конкретный, персональный Ваня Карабанов намертво поймал цель. Так мгновенно его осенило. И цель эта была вовсе не бесследно (даже мокрого места на ярко светящемся бельме не оставляла) выползающая из очередного квадрата тля.

И даже не та, о которой зазывно и страстно нашёптывал, прильнувши к его плечу, старший, выс-

ший чужой офицер: отпуск! отпуск! отпуск — аж на десять суток!

Сажали в то время чаще всего на пятнадцать, а вот отпускали исключительно на десять.

Насчёт единственного стоящей цели Ваня Карабанов сообразил в последний миг.

Детдомовец Иван Карабанов, как и сам Главный на Главном Балконе Отечества, не знал в тот сокровенный миг, как осложняет он последующую зарубежную жизнь своему высокородному соотечественнику и почти что ровеснику Сергею Хрущёву. Да и знать не хотел: он наконец-то воистину увидел, выцепил свою истинную цель! Можно сказать — всей своей предыдущей жизни.

* * *

Хрущёв через заплечного клерка, прятавшегося на полусогнутых, вприсядку, за его спиной, уже хотел дать команду речёвщикам-громкоговорителям, чтоб заткнулись. Дабы он, ставший в одночасье почти что Сталиным, сделал с трибуны Мавзолея важное сообщение всему советскому народу. И всему американскому. И остальному миру — тоже. И даже не о сбитом американском самолёте, осмелившемся просканировать СССР от Кушки до Полярного круга, нет. Это мелкая сошка, разменный пятак. А о том, что у его страны появилось принципиально новое, феноменальное оружие противовоздушной обороны. Пускай задумаются. И пускай — кому следует — вздрогнут!

Но тут с перекошенным лицом, пошептавшись предварительно с подбежавшим — в полный рост, совсем обнаглели! — дежурным генералом, к нему вновь оборотился Родион Малиновский.

— Что?! — не глядя, рявкнул Хрущёв. — Промазали?

— Не совсем... — пошёл пятнами Родион.

Хрущёв, повернувшись, недоумённо выпутился на него.

— Не совсем... — мямлил Родион. — Сбили... Но — своего...

Никита Хрущёв, забыв прикрыть ладонью чуткий микрофон, крупно выматерился.

Отечественное телевидение, хотя и было в зачатке, но — пикнуло.

А вот нижетекущему народу — понравилось!

* * *

Гэри Пауэрс конечно же видел, что сбили его не-задачливого преследователя. И то, что русский лётчик (Пауэрс так и не узнал, что его фамилия Сергей Сафонов), разумеется, не ожидавший такого смертельного подвоха от своих, не успел катапультиро-

ваться. Парня разнесло вместе с самолётом. Видел. Надо отдать американцу должное — даже на суде, под напористым прессингом аж целого Генпрокурора СССР, маршала Руденко, он ни разу не обмолвился об этом своём знании. Впрочем, и маршал старательно обходил скользкую тему — и непосредственные участники суда, и те кто следил за процессом со стороны, стало быть, как минимум, страна, действительно считали, что легендарный, недосягаемый прежде «Локхид» поражён первой же советской ракетой.

Руденко, возможно, и сам доподлинно не знал насчёт первоначального залпа, он хоть и был маршалом, но всего лишь юстиции, а не артиллерии. Из всех участников процесса, наверное, один Пауэрс и ведал истину, поскольку увидел её в своё время настолько воочию, что и без того выдавливаемые из-за сумасшедших перегрузок глаза его вообще полезли из орбит. Понял: сейчас достанут, снимут и его.

Выходит, враги ему, отправляя в полёт, что у русских нету оружия, добивающего до таких, стратосферных высот. Есть! — советский перехватчик в весеннем и ясном, миллион на миллион, небе брызнулся, как комар, прихлопнутый на чисто вымытом оконном стекле.

Похоже ему, Пауэрсу, насчёт многочего ещё враги там, на земле.

Русский катапультироваться не успел, но гибелью своей спас американца.

Американец, в три погибели гнутым позвоночным столбом, понял, что следующий залп последует через мгновение и что сделает его наверняка лучший «стрелок» противовоздушной обороны страны Ваня Карабанов. И что Ваня-то не промажет — цель у него куда желаннее и повыше Пауэрса.

Разделённые миллионами кубометров нежной, весенней воздушной массы, Иван и Гэри на мгновение, так же, как только что контуры «Мига» и «Локхида», слились в одно целое.

— Прыгай! — умственно сказал переученный зенитчик Ваня Карабанов и ещё более умственно добавил нечто очень непечатное.

И Гэри повиновался: против Вани не попрёшь.

Вообще-то сперва он должен был разрушить самолёт. Его «Локхид» суперэксклюзивен и потому суперсекретен, особенно двигатель «Пратт энд Уитни», и ни в коем случае, твердили ему ещё на земле, не должен попасть в русские руки! Прямо перед носом у лётчика кнопка, которую непременно надо нажать в случае смертельной опасности. Дотянуться до неё даже легче, чем до взрывателя катапульты.

Но, слава богу, детей сапожников на земле даже больше, чем в небе. И техник, отправлявший Пауэрса с аэродрома в Пешаваре, шепнул в последний момент:

— Взрываешь самолёт — взрываешься вместе с ним... Катапульта в таком случае не отстреливается.

Уже облачённый в скафандр и во всё своё небесное облакение (лётчики предстают перед Господом Богом почти что в вечерних фраках), Пауэрс, уверенный — после уверений начальства, — что взрывать не придётся, всё же благодарно кивнул тогда раздувшейся от скафандра головой.

А теперь, моментально взмокшей задницей, вспомнил.

Не-е-ет... Самолёт взорвут и без него. Сами русские...

В скобках заметим, что именно двигатель и грохнулся на землю почти целёхоньким, металл не подвёл. После, предварительно разобрав по косточкам и собравши вновь, его даже в зал суда приволокли, и сам Генпрокурор несколько раз к нему, компактному вражьему монстру, подходил, наглядно клеймя «поджигателей войны». Совпадение, конечно, но после Пауэрса и наши, Рыбинские авиационные моторы, сразу поумнели.

Не-е-ет!..

И Пауэрс нажал кнопку, которая находилась дальше, под задницей, но эту самую задницу вкупе с передницей всё же спасала. Нажал за долю секунды до того, как взорвалось рядышком Ваней Карабановым запущенное в небо его, Вани, заветное желание.

Катапульта счастливо вынесла, выкинула Пауэрса из зоны взрыва за миг до верной гибели...

* * *

Главное подручное средство у сапожников вопреки расхожему мнению даже не молоток и шило, не гвозди и вакса, а — дратва. Многократно спряжённая, скрученная, смолою и воском и самой сапожниковой, поднаторелой и в подзатыльниках, и в нетрезвых ласках ладонью навошённая нить. Именно ею, этой сурговой и прочной нитью, верх — союзки, задники и т.д. — подшивается к низу. К подошве. К землематушке. Гвозди, берёзовые шпильки и всё остальное — это уже потом, это уже вторичное. Дратва — первооснова сапожной, «шумахерской» вселенной.

Да, она конечно же и от слова дратва. И кто-то, а уж дети сапожников, разумеется, драты как никакие другие детишки на свете. Но и с подошвою, с землёю, с жизнью сцеплены, прошиты — дратвою. Намертво. Не отодрать. Хоть через воздушное, хоть уже и через безвоздушное пространство.

И очень даже себе на уме.

Гэри нарушил ещё одно железное предписание: он должен был при «наступлении крайних обстоятельств» (а куда уж крайнее? — он уже кувыркался в воздухе) раскусить вшитую в воротник капсулу с ядом. Вспомнив о ней, Гэри помянул её — на ан-

глийском, да ешё с американским акцентом, это пожелание прозвучало ещё прямолинейнее и непечатнее — теми же словами, которыми незримо напутствовал его самого по-русски мой будущий однокашник Ваня Карабанов.

Приземлившись, едва живым, на стропах своего фирменного американского парашюта, американец сразу же протянул подбежавшим к нему уральским комбайнёрам-трактористам (слава богу, сталеваров не задействовали) пистолет, нож и, выдрав её предварительно из жёсткого ворота, капсулу. И, жестами, поскольку русскому его, готовя в полёт, так и не выучили (наверное, чтоб лишнего не сболтнул), опасливо пояснил, что это — не «спирит».

С «духом», как и с водкою, у сапожников, да и у их детей, короткие отношения.

Правда, комбайнёры-трактористы были несколько разочарованы, что — не «спирит». И, рассовав по карманам пистолет и ножи (их у шпиона оказалось несколько, вплоть почему-то до перочинного — видимо, с ним предполагалось идти на медведя), стеклянную капсулу приняли с совсем иным чувством, нежели бы восприняли у свалившегося с небес американца цельную бутыль с менее опасным, но всегда желанным для русских ядом.

В общем, хоть его командование и тщательно продублировало неизбежность смерти Пауэрса в случае наступления «крайних обстоятельств», но он, зараза, сапожное сорное, истинно крапивное семя, остался жив.

Чего ему на родине долго не могли простить. Его там объявили предателем и даже лишили всех предыдущих воинских наград и регалий. Он должен был, засранец, погибнуть, как истинный американец! Во славу своей, нет, не нации, такой нации нету, а — Родины! А он, засранец, а не американец, выжил. Как истинный американец. Во славу, так скажем, своих родителей, сапожника и — тоже неоднократно *другой* — евонной жёнки, которые, чуть ли не единственные во всём Новом Свете, трепетно и верно ждали его, аж до обмена с Абелем, из всей этой передряги.

Правда, по ходу судебного процесса над Пауэрсом отношение к нему в Америке стало меняться. Он так (сучи дратву, её под конец ещё и мылят) вывёртывался на процессе, не назвав ни одного своего конкретного серьёзного начальника и не раскаявшись в своём преступлении перед Советами, так искусно превозносил Америку и посильное ей служение, что, сперва широко разрекламировав процесс на весь мир, русские предпочли его свернуть.

Нюрнберг Генпрокурор Роман Руденко выиграл, а вот какой-то свой, уральский, заштатный Мухосранск проиграл. Проиграл.

Пауэрса обменяли.

Со временем, когда Америке потребовались живые идолы для обожествления войны во Вьетнаме, ему вернули всё и даже зачислили в герои. А его вежливые препирательства на суде с Руденко вошли аж в спецкурсы по практике идеологического противостояния...

* * *

Подобьём бабки.

Через три с половиною года Никита Сергеевич Хрущёв станет просто Никитой. В прошедшем времени. Нового Сталина из него так и не вышло. Не выходился. Не взлез, хотя на Мавзолея маячил почти что тридцать лет беспрерывно. Это при нём пошло: раньше, мол, был культ, а сейчас — кульяпка...

Сын его через двадцать лет переберётся-таки в Америку и, пройдя все круги натурализации, наконец-то станет полноправным гражданином противостоящей нам державы.

Вскоре после крушения Хрущёва Родиона Малиновского заменит военный аристократ Андрей Гречко. Однажды он даже посетит гарнизон, в котором служил и я сам, — город Тейково Ивановской области, где стоит мощный (ракетный!) противовоздушный заслон Москвы, — и даже отведает в нашей столовой солдатской гречневой каши. Из призыва в призыв, из одного солдатского поколения в другое будет передаваться легенда, как застывший за спиной у маршала генерал, адъютант, перекинутым пополовому через плечо солдатским вафельным полотенцем дополнительно, до серебряного блеска, простирая выложеные перед Гречкой алюминиевые ложку, вилку и нож. (Это при том, что мы, как правило, обходились одной ложкою.)

Хрущёва сменит Брежнев — это его помощники заставят повосковевшего к старости *скорняка*, не сапожника, Жукова снисходительно отзываться в его мемуарах о Хрущёве, но вставить пассаж, как на Малой земле под Керчью он, маршал, «советовался с полковником Брежневым».

Реабилитированный Гэри Пауэрс к концу жизни станет вертолётчиком и будет возить на всевозможные ЧП телевизионные съёмочные группы. И погибнет в заурядной провинциальной авиакатастрофе. Американская вьетнамская война закончилась, а до американских арабо-афганских войн было ещё далеко. Судя по всему, это был очень незаурядный, себе на уме, человек, сумевший на равных тягаться не только с идолами советской идеологии, но, после, и с более иезуитскими — идолами идеологии американской.

После Первого мая 1960 года разведывательные военные американские самолёты, раньше неоднократно и безнаказанно дырявившие воздушное про-

странство СССР, больше этого себе не позволяли. Стало неопровергимо ясно: если и не перехватят, то — сбьют.

Американскими разведчиками стали самолёты исключительно гражданские, пассажирские. Правда, ни одного собственно американского — потому и сбивали их.

Наши перехватчики благодаря моторам (конечно же рыбинским, а не слямзенным) резко прибавили в высоте. Не говоря уже о наших ракетах: по ним мы и сейчас первее всех первых в мире.

* * *

Наводчик Ваня Карабанов... Он хоть и махонький, но лет на семь старше меня. И считал своим долгом по ночам — занятия в вечерней школе у нас заканчивались в первом часу — провожать меня, как девушку, из центра, где находилась школа, до окраины, до бывшего *моего* интерната, в котором мне из жалости ещё давали угол. Порог. Много чего разного было переговорено у нас с ним на этих ночных путях. Под страшным секретом, на ухо, и рассказал он мне эту чудесную историю спасения заблудшей своей сестры.

А окончательно рассекречена она, эта история, только в годы перестройки. Правда, фамилию сбитого по ошибке советского лётчика-перехватчика, Сафронова, как правило, и сейчас не называют. А он тоже достоин памяти, и нашей, и американской. Помимо всего прочего, спас он когда-то и Ванину сестру — не случись с ним трагического казуса, Ваня так и не дождался бы своей очереди на выстрел. Да и Пауэрса тоже спас. И погибли они в конце концов почти одинаково. Представ пред Господом, как перед высшим начальством, в полном форменном своём обмундировании. Правда, Гэри ушёл без скафандря, а просто в синем, небесного цвета, чтоб глаза Встречающему не резало, комбинезоне.

Да, вместо отпуска Ваня потребовал — после удачного залпа — неслыханного. Освобождения своей сестры. И, как ни странно, ни неслыханно, ему пошли навстречу. Видимо, прегрешения у сестры многочисленные, но не тяжкие.

Не столько перед законом, сколько перед нравственностью.

Но на момент нашего с ним знакомства Ваня её так ещё и не повидал. Поскольку сразу после неожданного досрочно-условного освобождения где-то в Зубовой Поляне, одном из мордовских районных центров, Ванину сестру с её «дембельским» узелком подхватил какой-то сердобольный и в меру бескорыстный (потому как у Ваниной сестры в кармане — блоха на аркане) таксист и увёз, умыкнул её аж до Владивостока.

Видимо, у Ваниной сестры наличествовали при себе неотразимые другие, скажем так — нравственные — ценности, перед которыми даже искушённому в таких доказательствах женской невиновности (и не путать с невинностью) таксисту устоять оказалось не под силу.

При мне, в шестьдесят четвёртом, Ваня всё ещё собирался к ней. Он хоть и составлял уже поезда, товарные, но ни один из них так далеко, до Владивостока, из нашего заспанного тогда (пока не разбудили кроваво в девяносто четвёртом) Будённовска ещё не доходил.

Где Ваня сейчас, я, к сожалению, не знаю. Может, по-прежнему составляет, а может, уже и прибыл — вне расписания — в наш общий конечный пункт назначения? В полной своей аспидно-чёрной, траурной форме с серебряными скрещёнными молоточками в петлицах:

— Вот он я, Господи!... Принимай пополнение...

1973. Леонид Брежнев встречается с Вилли Брандтом. А мы за ними наблюдаем

Сейчас это кажется невероятным. Но уверяю вас, дорогие мои, что такое время всё-таки было — когда в стране наличествовал дефицит телевизоров. Благословенное время, поскольку мы были молоды, и благословеннейший из дефицитов. Может, потому мы и были молоды, во всяком случае моложе, чем на самом деле, что телевизоров — не было. В том катастрофическом количестве, в котором повсеместно расселились они сегодня, как гудронно хромированные навозные мухи на наших обеденных столах. Мы были моложе, потому что питались не чужой жвачкой — а телевизор нынче если и напоминает мне окно, то именно то, через которое невидимая (видны только красные, распаренные руки) подавальщица подаёт тебе тюремную баланду, — а миром, воспринятым вживую. Собственными глазами и ушами. Впрочем, в молодости вглядываясь, вслушиваешься, *вчутливаешься*, если употребить старинный русский глагол, не только общеизвестными органами чувств, не только ещё совершенно нетронутой отвердением, ороговением, вполне ещё сыроятной — в руках одного только времени — кожею, а, пожалуй, самим уже воздухом, тебя окружающим. Он не просто невероятно проводим, как бывает исключительно в молодости; он сам, на кубометры вокруг — ты. Слышишь, видишь, осозаешь, ни с того ни с сего изливаясь вдруг не-

жданными поллюциями, — им. Воздухом, тебя обнимающим.

Обычное окно, в которое я, в частности, вглядываюсь и сейчас, — и оно сейчас напоминает мне трепетную рану действительно *в мир*, пульсирующий счастьем бытия и болью — увы, тоже бытия, — куда непредсказуемее любого экрана, любого чуда электроники и электротехники. Потому что единственным медиумом, им управляющим, ему нашёптывающим, является только сам Господь Бог.

При всём моём посильном православном атеизме.

Сию минуту, в частности, оно, это натуральное дачное окошко, мне, страшно близорукому, но чрезвычайно — возможно, уже в силу этой самой близорукости — чуткому, даже не показывает (ныне и присно, как известно, говорит и показывает исключительно Москва), а шепчет, подсказывает: там, в миру, прорывается, как прорезаются ранние зубы, осень.

Тогда же телевизоров ещё не хватало. (И потому мы больше думали своими мозгами — телевизор, как чип, скоро будет вживляться всем нам при рождении, как в Америке уже при рождении всем *удаляется* аппендицит. В данном случае процесс вживления идентичен процессу удаления. Впрочем, в молодости, допускаю, мы всё же в большей, нежели сейчас, степени думали даже не собственными мозгами, а суплёрскими «шариками» Бога, что вполне простиительно — лучше всё же *природными*, чем заёмными.)

В редакции краевой молодёжной газеты, где я тогда работал, телевизора не имелось. Даже в кабинете — кабинетике — редактора. А вот в редакции краевой *партийной* газеты телевизоров имелось аж два. Можно сказать, даже двое, поскольку телевизор изначально и всегда — существо действующее, воздействующее, а стало быть, одушевлённое. Двое — один заседал в кабинете редактора, Павла, не помню как по отчеству, Дубинина — а второй, как бы бельмом, незряче, участвовал в благонамеренных рабочих дискуссиях в зале заседаний редакционной коллегии.

Возможно, этим и объясняется, что заседания редакколлегии «Молодого ленинца» проходили куда более бурно, чем — под присмотром бельма — чинные заседаловки в «Ставропольской правде».

И то сказать: ленинизм и правда всегда состояли в непростых отношениях.

Чтобы окончательно закончить эту тему. Я, наверное, не очень прав. Именно на заседании редакколлегии «Ставропольской правды», пожалуй, самый юный её член — господи, какое двусмысленное выражение! — однажды отвесил звонкую оплеуху другому, значительно более старшему, по возрасту, члену — и был тут же спроважен этажом ниже, к нам, в «Молодой ленинцу», на ту же, что и наверху, но с куда меньшим окладом, должность заместителя ответственного секретаря. Но, дабы вы, мои дорогие, от-

чётливо представляли себе всю «беспроблемность» тогдашних времён, я должен сообщить, что вскорости он был назначен — из замов — ответственным секретарём, а по некоторому прошествию времени — и редактором этого самого, весьма молодого «ленинца». И даже, признаюсь, именно он и давал мне рекомендацию в партию, потому как из партии его за памятный публичный скандал и трезвый мордобой (там вроде была замешана женщина) всё же не выгнали. Его фамилия — Марьевский. И он, слава богу, ещё жив. Фамилию привожу специально, потому что она многое объясняет: Николай Марьевский по отцу поляк. Гонор, честь у него в крови. Его отец, Семён Марьевский, был паровозным машинистом. Я однажды выпивал в его, отца, компании и запомнил главное: дядька выложил на стол тяжеленные, в светлых, польских волосках, ручищи-кулачищи, оставшиеся безработными после спокойно опрокинутой рюмки, и я восторженно подумал: вот это аргумент! Правда, у Коли, сына, пясть уже шляхетская — исключительно для авторучки. Или — для аристократических пощёчин...

В один из дней лета семьдесят третьего «Молодому ленинцу» позволили посмотреть телевизор в «Ставропольской правде». Ну, не у редактора, а в зале редакколлегии. Так редакколлегия «Молодого ленинца» переместилась на несколько минут в зал редакколлегии относительно пожилых. Надо сказать, сидели мы довольно смирно. Без буйства — видимо, помня, что рукоприкладство здесь уже и без нас однажды стряслось.

Нам позволили туда подняться, поскольку начинилась прямая трансляция встречи в Бонне Леонида Брежнева и Вилли Брандта.

Я тогда совсем не разбирался в телевизионных премудростях — заместителем председателя Гостелерадио СССР мне только предстояло ещё стать — но, думаю, прямые трансляции тогда были не в редкость. Сама тогдашняя, почти допотопная (Ной никогда бы не спасся, прихватив в свой ковчег и TV, чьё парализующее воздействие сегодня общеизвестно) технология телевидения предполагала его прямое, не в записи, преобладание в эфире.

Нонсенсом являлась сама встреча, если мне не изменяет память, вообще вторая по счёту. И ещё большим — её оглушительная открытость.

Хотя, по гамбургскому счёту, открытым было одно: выход Брежнева из самолёта и проход его по лётному полю к встречавшему — впервые в послевоенной истории взаимоотношений наших государств — высокого гостя канцлера Вилли Брандта. Брандт почему-то навстречу Генсеку не шёл, во всяком случае, на экране: видимо, потому что хромой. Инвалид той самой войны, на которой Брежnev был только контужен.

А как бы вы, дорогие, думали: наш бы, на весь мир, шёл, а тот бы, их, на весь мир — хромал?

Вот это было поистине внове. Все в мире понимали, что эта встреча — льда и пламени? — касается каждого. Аж волосы на макушке каждого шевелились.

Что-то новое, выстраданное и даже вожделенное начиналось в термоядерном мире.

На наших глазах.

Потому нам и позволили, в разгар рабочего дня, подняться.

Чтоб, стало быть, действительно на наших.

Позволил скорее всего главный «Ставропольской правды» Павел Дубинин. Он, выходец из районной прессы, надо признать, не очень жаловал нас, «молодёжку». Краснобаев и, как водится, тайных фронтёров. В упор не видел: умильно поздороваешься с ним, когда он поднимался «через нас» к себе, на второй, а он только походя кивнёт в ответ. Может, потому и Николая спровадил — как Саваоф с небес — к нам, чтобы тот кому-нибудь и здесь, внизу, морду начистил?

Но в начале трансляции он, чёрт возьми, и сам заявился ко всем нам — в зал, естественно, набился и народ из самой «Ставрополки». Собственной, весьма полновесной, августейшей тогда и угрюмой-таки персоной.

Видимо, скучно ему стало смотреть в собственном кабинете, одному, вперившись в персональную свою раздачу. Зал, бойко перебрёхивавшийся до того, перед началом репортажа, сразу уныло смолк.

Приход Дубинина казался нам ещё значительнее и знаменательнее явления Брежнева из чрева ИЛ-62-го.

Лично я, признаться, Дубинина не опасался. Потому что, в отличие от всех других моих сослуживцев по «Молодому ленинцу», о «Ставропольской правде» не мечтал. У меня совсем другие планы. Для претензий на «Ставрополку» я слишком молод, а вот для этих, других мечтаний именно юность моя и являлась их тайной сообщницей. К тому же я и сам выходец из районной газеты. Это нас как-то втайне роднило, хотя Дубинин наверняка и не подозревал об этом родстве — он и фамилии моей не знал и вообще уж меня-то точно в упор не видел. Но я-то рассматривал его, пожалуй, повнимательнее, чем все остальные, даже его подчинённые. Я знал, что он из Арзгира, а это район, райцентр, смежный с моей родиной. Я из Ногайской степи, из Тымутаракани, где степь перерождается в полупустыню, а он из степи сопредельной, почти что калмыцкой. Наш суховей — с песком, а их — с пылью, с прахом, что ещё злее песка. Наш — на зубах скрипит, а в их, забивающей рот, пыли зубы твои вязнут, как в сладкой смоле.

А поди ж ты, вон какие, величественные, вальяжные, и оттуда, как из преисподней, выныривают!

Это и мне, в моём внутреннем самосознании, как бы давало некий шанс.

Пожалуй, ещё внимательнее, чем я, на Дубинина — не стесняясь окружающих — смотрела молодая, но уже совершенно зрелая — у неё даже волосы цвета и мохи высревшей нивы — широкая женщина по имени Римма. Поговаривали, что у них роман. И это тоже добавляло зоркости моему глазу, укромно устроившемуся в самом уголке дивана, возле двери: соглядатаям всегда предпочтительнее иметь пути отхода. Тем более что у меня были основания считать себя здесь уже почти чужаком.

Зоркости и — объёма, что ли, зрения.

В отличие от подавляющего большинства собравшихся, я не был всецело поглощён одним только телевизором.

* * *

Я, дурак, всё же во все глаза смотрел на Брежнева, а мне, вообще-то, надо было повнимательнее всматриваться вокруг. Многих-многих из этих людей я уже видел в последний раз — этим же летом, в июне, уже уехал в Москву, на стажировку в «Комсомолку» и больше уже в «Молодой ленинец» не вернулся.

Нельзя сказать, что вся страна тогда приникла к телевизорам. Во-первых, у всей-то страны телевизоров ещё точно не было. Во-вторых — разгар рабочего дня, по вечерам тогда обожали фигурное катание. Да и не все понимали, что происходит на самом деле.

Эти — понимали.

Уже хотя бы потому, что большинство сидевших вокруг меня фронтовики. Фронтовики, а только потом уже журналисты. То было ещё время, когда определение «фронтовик» поглощало все остальные, последующие: профессию, возраст — впрочем, возраст у них, так, во всяком случае, казалось нам, молодым, нефронтовикам, был почти неотличимо одинаков — и даже пол.

Фронтовики! — они узнавали друг друга молча и с первого взгляда и как-то незримо, но цепко держались друг дружки.

Так держатся, наверное, идущие — совместно — к совместной, братской могиле.

Но тогда это неумолимое шествие только ещё начиналось. Они ещё в соку. К тому же с шестьдесят пятого года всё тот же Брежнев приподнял фронтовиков. День Победы объявили нерабочим, настоящим праздником. Им стали возвращать определённые почести. И Сталин и Хрущёв, видимо, всерьёз побаивались ещё победителей. Да и времена, разруха стояла ещё такая, что не до почестей. Фронтовиков, в том числе и одноруких-одноногих — я многих таких застал и в своём селенье, — по самый загривок впрягли во всеобщее послевоенное ярмо. Брежnev же их

уже не боялся. И сам уже ехал с ярмарки, и они уже крепко надкусаны жизнью. Да Брежnev, судя по всему, вообще не робкого десятка. Сейчас мало кто вспоминает, что в крохотной команде, с которой Жуков арестовывал Берии, состоял и сорокалетний генерал-майор Брежнев. Зам. начальника Политуправления Северного флота. Северного — вон аж куда, с югов, вышвырнули его сразу же после смерти Сталина! А ведь на последнем «сталинском» съезде, когда тот, движимый не то инстинктом, не то некой дальновидной и неприемлемой для его тогдашнего ближайшего круга (который в конце концов и отравил его, ибо травят исключительно ближайшие, имеющие доступ к твоему столу и даже блюду) стратегической целью, резко расширил и омолодил состав ЦК; и Брежнев из первых — уже первых! — секретарей крошечной Молдавии был определён в секретари ЦК КПСС (правда, с совершенно неизвестными обязанностями, их просто так и не успели определить).

В том самом аресте, когда Георгий Жуков, подойдя сбоку к грузно сидевшему, помертвевшему в своём кресле Берии — тот лихорадочно искал под дубовой столешницей «тревожную» кнопку, ещё не зная, что и охрана в предбаннике заменена да и провод у кнопочки предусмотрительно перерезан — обнажил пистолет, а три или четыре генерала — и Брежнев среди них — выдернули, как куль с мукою, Берии из кресла и из-за письменного стола, уложили — он и не сопротивлялся — на широкую, лампасного цвета и вида, ковровую дорожку, завернули его в неё и, дружно крякнув, подняли — уже как труп в роскошном кремлёвском саване — и вынесли в глухой предбанник.

Передав с рук на руки уже сменённым предварительно охранникам-офицерам, общевойсковым, а не гэбешникам, переодетым в солдатское.

Так когда-то, после рокового поражения на Калке, пленённые русские князья были завёрнуты, «упакованы» монголами в дорогие азиатские ковры. И потом, сидя прямо на них — слава богу, что и полководец Субэдэй, и ханский сын Джучи по-походному сухопары, — победители и устроили свой победный пир.

Если верить Владимиру Чивилихину, сидели, пьяно развались, прямо на них. А если по Борису Акунину, то на князей настлали ещё и дощатый помост и уж только потом, ломая рёбра поверженным и незадачливым русским атлантам, уселись на нём сами за изобильным пиршественным дастарханом. В данном случае Борису Акунину веры даже больше: азиаты предпочитают сидеть не на стульях и креслах, а прямо на корточках. Без подставок...

Берия даже не пикнул — сквозь такой-то суконный кремлёвский кляп.

Нет, Брежнев явно не из робких. Он вообще за под лицо соответствовал своему народу. И это хорошо. Если предводитель выше своего народа или даже ниже его, то государство, возможно, и выигрывает, а вот народ — неизменно страдает. Брежнев, пожалуй, последний руководитель новейших времён, при котором русский народ не убывал, а прибавлялся.

Они понимали друг друга.

Брежнев, помимо прочего, единственный, кто писал заявление «по собственному желанию»... Горбачёв потом тоже писал, но разве ж то по собственному...

Иногда мне кажется, что и народ наш тоже на грани таких вот усталых исторических заявлений.

Редактор будённовской районной газеты, принявший когда-то меня на работу, фронтовик и даже, в своё время, советский комендант маленького, наверное, величиной с нашу же райгазету, немецкого городка. По фамилии Путилин. Чудесный человек — немцам просто повезло, настолько он был «некомендантский». Его любили и в редакции, и в большой городской средней школе, куда он после перешёл директорствовать. Один из выпускных классов подарил ему велосипед с моторчиком — они тогда были в ходу. На этом велосипеде Георгий Григорьевич и попал под машину; хоронил его весь город. В редакции же его любили в натуральном смысле этого слова — за связь с одной из сотрудниц он и лишился редакторского поста. Уверен, что и в шестьдесят четвёртом, когда я перед ним, как лист перед травою, предстал, по нему ещё вздыхали провинциальные полногрудые немецкие валькирии: рост, стать, орлиный нос и — обходительность юного светского льва в золотых погонах.

Он говорил: «Я — двадцать четвёртого, самого расстрельного года. Поэтому и живу и думаю, как считаю нужным: по бессрочной доверенности...»

Опять же — фамилия. Предвидевшая сродственную.

Его заменил человек посуще, пришедший к нам в редакцию из госпартконтроля, Иван Гаврилович Шакун. Но тоже фронтовик. Он посуще уже хотя бы потому, что одна рука у него ещё суще, чем у самого Сталина: деревянная. Но роскошную заведующую отделом писем, на чью обтянутую нейлоном и напоминающую два нежно совмещённых и все океаны глобуса вместивших грудь, когда она царственно восседала за приткнутым к подоконнику письменным столом, через старинное стрельчатое — таких любили изображать соблазнительно целомудренных мадонн — окно, разинув рты и пуская слону, заглядывались, столбенея, уличные прохожие мужского полу, — так вот: эту заведующую, несмотря на пожелание «свыше» (райком и впрямь находился этажом выше газеты) новый редактор так и не выгнал.

Не выгнал! — фронтовая круговая порука. «Что будем делать? Завыдововать будим...»

Дубинин тоже, по-моему, фронтовик. Фронтовики и оба его зама. В дивизионке начинал и ответственный секретарь Маяцкий — отчество помню: Иосифович, а вот имя не припоминаю. С орденскими планками на пиджаке: их тоже вернул к жизни в шестьдесят пятом, вскоре после своего восшествия — да его, пожалуй, и посадили на трон фронтовики, которым надоели «вытребеньки» неистового Хрущёва, что в войну только рядился в генеральскую форму, — всё тот же Леонид Брежнев. Нынешние почести фронтовикам — это уже горсть земли, бросаемая действительно в братскую могилу. Тогда же — хорошо, что они узнали их, весьма, правда, скромные, будучи ещё способными воспринять этот почёт почти что как запоздалую женскую ласку.

...Они вглядывались в телевизор, и лица у них та-ковы, словно они, почти тридцать лет спустя, самолично присутствуют при подписании Акта о капитуляции в Потсдаме...

Невысокий, с уже по-старчески немного непропорциональной по сравнению с туловищем головой, но в хорошо сшитом, хоть и советском, костюме с закруглёнными по тогдашней моде бортами, Брежнев шёл по лётному полю, напоминая чем-то Гагарина. Да, походка другая, тяжёлая. Видно, что ноги уже, как у всех стариков, в отличие от живота, подсыхают. Да и не торопился, не мельтешил по-гагарински, по-мальчишески, по-лейтенантски — шаг мелкий, однако почтенный. И голова сановито, по-цесарски приподнята... И всё же *размер*, строфа, что ли, движения, как и сам абрис фигуры — очень русский, Гагарина!

Не знаю, как кто, а я внимательнее всего глядел на его туфли. На шнурки: не развязались бы, как у Гагарина! Тот и с развязанным шнурком, как заводной, домаршировал до кремлёвской трибуны, а этому и паутина, протяни её поперёк, помешать могла.

Не помешала.

Дошёл!

Если и не до Берлина, то до самого Бонна, что нынче ещё важнее.

Застывший, на Генриха Бёлля чем-то похожий, Брандт не выдержал и, косолапя, тоже сделал шаг навстречу.

Да, мне бы ещё внимательнее надо было бы смотреть вокруг: Брежнева — того в своей жизни я ещё увижу, и не только по телевизору, где его давали каждый вечер, а вот этих...

Где-то среди них сидел в семьдесят третьем и Ваня Зубенко, незабвенный мой старший друг, благодаря которому я и попал когда-то в «Молодой ленинец». Ваня тоже всматривался в происходящее под Бонном и, может, даже пристальнее меня — его отец

погиб где-то там, на той самой войне. А Ваня в своё время мучительно вылезал, выдирался из-под безотцовщины, как вылезает коряво из-под смёрзшейся мартовской крыги потерянный кем-то обсевок. Закончил агрономический техникум, отслужил в армии, работал агрономом — какие неподражаемые байки слушал я от него о «колхозных буднях», в особенности о колоритнейшем Леонтьиче, председателе колхоза, который, если верить Ивану, говорил: «Ваня! Знаешь, почему агроному даже труднее, чем самому Иисусу Христу? Иисус, подвернув штаны, идёт босиком по воде, а агроном — по борозде...»

Правда, дальше следовало кое-что непечатное, причём и в непечатном этом Христос тоже был за действован, и я, чтоб не богохульствовать, повторять это продолжение не стану.

Агрономы вообще народ приметливый, а Ваня по природе приметлив вдвойне. Да и языком почти что в самого Леонтьича. Наверное, это и подвигло его податься на заочное отделение факультета журналистики МГУ и даже сменить со временем профессию: именно в районке мы с ним впервые и встретились.

Междуд прочим, всё тот же легендарный, как и сам Иисус, Леонтьич его, Ивана, отрывая не только от земли, но и от сердца, в журналистику и благословил. И, напутствуя, привычно завершил рифмованную триаду, где же легче всего ходить босиком: в воде, в борзде или...

Ваня тогда только-только перебрался в «Ставропольку», на самую рядовую должность, и никто из сидящих тогда, в мае семидесят третьего, — и Дубинин, в первую голову — и предположить не мог, что именно этот вчерашний агроном, деревенская косточка, станет со временем здесь, в «Ставропольской правде», главным.

А перед этим ещё побывает и помощником первого секретаря крайкома партии по фамилии Горбачёв.

Кто из них, сидевших тогда вокруг телевизора, жив и посейчас?

Вани уж точно нет.

Несколько лет назад он умер от редкостной, но страшной болезни, о которой отваживаются говорить только в последнее время: боковой амиотрофический склероз. Да-да, тот самый. Известные люди, в том числе и в нашей стране, обливаются ледяной водой, посылают вызов совершить то же самое ещё какой-нибудь знаменитости или просто известности и вносят деньги в фонд борьбы с этой — на семьсот тысяч человек одна жертва — редкой, как попадание молнии, но неукротимой болячкою. Она — по молекулам — отбирает у человека способность двигаться: сперва немеют кончики пальцев, потом дальше, дальше и всё страшнее... У человека отнимается ды-

хание, голос, отнимаются даже веки, движутся только глаза. Только — мученика! — взгляд.

У Вани началось с того, что ему стало затруднительно застёгивать пуговицы — просил помочь сыновей.

А несколько месяцев спустя взглядом — единственно, что не отнялось! — умолял всё тех же сыновей отключить аппарат искусственного дыхания.

Я, пытаясь помочь, связывался с самыми большими светилами этой области в нашей стране. Мне печально подтвердили: не-из-ле-чи-мо.

Есть даже лауреат Нобелевской премии, астроном, умирающий — правда, замедленно — сейчас от этой болезни...

Если не ошибаюсь, первым, нарушив обет пугли-вого молчания, обливаться начал Джордж Клуни — лично я люблю его не столько как актёра, сколько как человека. Мне чрезвычайно импонирует даже его недавняя женитьба, точнее выбор «суженой».

Господь, помоги обречённым! Пробей брешь — в обречении.

В нашем всеобщем.

Ваня, вспоминаю тебя всякий раз, берясь, с третьего, за любую пуговицу или даже крючочек. Даже — всё реже — на чём-то бюстгальтере.

Хлеб насущный даждь нам днесь. Хлеб надежды...

Сейчас перечитал написанное и задумался: а ведь в тот же майский день, в той же комнате, в самом углу дивана, поближе к выходу, сидела и ещё одна юная деревенщина, которой тоже, через годы, предстояло стать помощником у человека с роковой и знаменательной фамилией Горбачёв.

Но уже не в Ставрополе, а в Москве.

Неисповедимы пути Господни!

* * *

Брежнева въяве, не по телевизору, я видел дважды. Один раз живым и потом уже мёртвым.

Живым, на съезде комсомола, наблюдал за ним даже пристальнее, пристрастнее, чем на похоронах. Разумеется, меня интересовал он и сам по себе. Богом его никто не воспринимал, даже в самое золотое его времечко. Просто пора обожествления власти, её сакральности вообще уже миновала. Последним сакральным вождём в стране являлся Сталин — по словам очевидцев, причём людей вполне здравых, сам его генералиссимусовский мундир, будучи намного скромнее обычного, маршальского (по-моему, Сталин сам и придумал его, стал его дизайнером — никто ведь не знал, нигде не было расписано и утверждено, как же должен выглядеть костюм советского генералиссимуса), издавал некое завораживающее, почти плащаницы, свечение. Разобла-

чив культ личности, Хрущёв в действительности разоблачил саму Власть как таковую. Снял, содрал с неё мистические покровы, святую облатку. Король — гол! — она и предстала если и не совсем уж голой, то как бы во вполне человеческом уже, натуральном виде: со всевозможными вздутиями, двойными подбородками и старческими паховыми опрелостями.

Моё поколение, может быть, первое, которое уже не молилось, да и не молится, на власть и, будучи в меру атеистическим, вовсе не воспринимает её «от Бога» (вообще, попробуй разбери, чего у любой власти больше — божественного или дьявольского?). И в моём тогдашнем отношении к престарелому, тоже по моим тогдашним понятиям — сейчас же считаю, что чем старше власть, тем она осторожнее, а стало быть, терпимее к нам, подвластным, — Брежневу, больше всего было — любопытства.

В данном же случае оно подогревалось ещё одним обстоятельством.

Вместе с секретарём ЦК комсомола по идеологии и его прямыми помощниками, я, приданый к этой «рабочей группе» из «Комсомольской правды», где служил уже заместителем главного, ваял на «комсомольской» (позже окажусь и на партийной) даче проект брежневского выступления.

Того самого, с которым он и должен был представить теперь на этом съезде.

«Проект» созидался загодя, аж месяца за два до события. И я ещё тогда, тоже загодя, выиграл у коллег спор: угадал, какую фразу — пусть хотя бы единственную! — из нашей коллективно сопрягаемой «мататы», из нашего текста Генсек всё же наверняка произнесёт. Спорили на бутылку, и ждать результата долго не пришлось: кто же будет ждать бутылку целых два месяца? Как только я произнёс эту предполагаемую фразу, все так и повалились со смеху на длинный, общий стол, за которым мы и писали.

— Дорогие товарищи!

Ясное дело, как же без неё? Без дорогих и без товарищей. Это как сейчас без уважаемых и господ. Все повалились, и я сам же и сбежал через дорогу, в сельмаг, за пузырём.

Произнёс он её и сейчас, на съезде. Произнесёт ли что-то ещё? Наше...

Больше «нашего» ничего.

Но меня даже сильнее приковало к нему другое. Как он шёл к трибуне и как спускался с неё. Это был уже совсем другой человек, нежели тот, что шествовал — космонавт в открытом космосе — когда-то по лётному полю под Бонном. Этот старик похож теперь на богомола, только не зелёного, а чёрного, хорошо приодетого, с непомерно большой, распухшей головой и с тоненькими негнущимися ногами, неуклюжего и бескрылого — такие уже не летают. Кры-

лья в своём развитии как бы пошли вспять, от них остались только жалкие эмбриональные вытяжки.

А ведь прошло не так много лет. Мне больно смотреть на этого немощного, насекомого старика, одетого, помимо добротного костюма, в такие же некогда добротные, а теперь уже просто карикатурные, заученные властные жесты и переползавшего, придерживаясь дрожащей рукою за воздух, со ступеньки на ступеньку. Бог с ним, что он сказал и чего не сказал. Главное — не упал бы!..

Да, мне довелось участвовать и в физических похоронах Леонида Ильича. Стоял неподалёку от Мавзолея, на гостевых трибунах. Брежнев проплыл мимо меня, как, наверное, проплыval когда-то, в последнее своё плавание в просмолёnnом своём ковчеге хазарский каган по матушке-Волге... (Это сейчас она матушка — нам, а на самом-то деле она не матушка, а праматерь: и многим до нас, и бог ёщё знает, кому после нас.) Но сам по себе мне он уже интересен не был. Ведь я уже похоронил его, где-то двумя годами раньше. Я теперь, как и вся страна, до рези в глазах вглядывался в высокого, сгорблennого, на верблюда похожего, что по-дromaderски же, уныло и отрешённо, вышагивал следом за катафалком.

Они так и пойдут. В строгом порядке. Друг за другом: Брежнев, Андропов, Черненко.

Даже бронетранспортёр, по-моему, даже экипаж один и тот же...

Ночное происшествие

Они остались вдвоём.

Любой руководитель государства, будучи в чужой стране, чей язык для него в куда большей степени «терра инкогнита», чем собственно сама её территория, всегда увереннее чувствует себя, ежели за спиной у него, за левым или правым плечом — в зависимости от того, на какое ухо туговат, — приkleен свой, отечественный, проверенный и доморослый (как правило, в незримых погонах) переводчик.

К Брежневу это приложимо вдвойне, ещё и потому, что туговат он уже на оба уха. Тоже, как и затруднение с речью, последствие давней фронтовой контузии.

...А вот с Вилли Брандтом, хотя Брежнев и по-немецки, кроме как «хенде-хох!» «хальт!», ну, может, ещё «Брудершафт!» и кое-какой другой восклицательной дребедени, засевшей в голове ещё с молодых, военных лет, ни в зуб ногой, ему, Брежневу, комфортнее, когда один на один. С глазу на глаз.

Когда за спиной никакой свербящей, как при радикулите, наклейки. Никакого перцового пластиря.

У Вилли Брандта, что воевал под Сталинградом, запас русских слов тоже военный: «На здоровье!» «До дна!» Ну, и всё тот же «Брудершафт!».

С Вилли Брандтом, оставаясь наедине, они говорят не словами. Жестами и ещё красноречивее — глазами. Брежnev, ешё с политотдела дивизии недолюбливавший особистов, позвоночным столбом знает: в период расцвета радио и радиотехники лучше жестами, а сейчас, с начинаящимся ренессансом кино и телевидения, — исключительно глазами.

Это глаза двух старых волков, которые за километр чуют друг друга. Не то по запаху, не то вообще по звёздам. У Вилли Брандта глаза действительно волчьи: светлые, спиртовые; этот спирт как будто бы выгнан, вытоплен прозрачной и крепкой, как мужская слеза, сукровицей, вытяжкою из всего его большого, родовитого тела. Он и всматривается в тебя с осознанием собственной силы и мудрости. Именно мудрости, а не хитрости, что на языке политиков и дипломатов именуется хитротопостью. Последняя не для волка, тем более такого матёрого.

Солженицынское «не первая зима на волка» — тоже о нём, о Вилли Брандте.

У Брежнева же глаза карие. Не волчьи, скорее овчарочьи, овчарки. Волкодава... Он, конечно, легче, субтильнее Брандта, но эти его знаменитые, сросшиеся крыльями, лохматые и даже на вид, а не только на ощупь, жёсткие, с воронёным металлом, брови и всему ему, в особенности всплывающему из-под них взгляду придают дополнительной силы и магнетизма. Притяжения. Не случайно дочка его в молодости, говорят, дружила с гипнотизёром Кио.

Волк и овчарка — они не только похожи, но ещё и взаимозависимы.

Во всяком случае, в минуты полнолуния и полного же, отчаянного одиночества совершенно одинаково воюют на единственно почитаемую ими, материнскую дыру в полуночной небесной мишени.

Им сервировали инкрустированный древний столик и налили каждому своё: Брандту — русской водки, «Столичной», Брежневу — мозельское.

Помощникам Брежнев доверяет больше, чем переводчикам; они, по крайней мере, служат только у него и нигде больше. Будь с ним сейчас в поездке Голиков, старый, однорукий, — вот бы троица собралась: у Голикова война отняла руку, у Брандта повредила ногу, у Брежнева... ну, у него, положим, тоже, слава богу, только мал-мал повредила, а могла бы и отхватить, — улыбнулся он сам про себя... Да, Голиков старый, однорукий, фронтовой служака, Брежнев, может, и оставил бы его. Но однорукого под рукою нет. А Александров-Агентов со своей двойной, какой-то то ли дореволюционной, то ли чересчур ре-

воловицонной фамилией, хоть и неплохой малый, но очень уж учёный, язвительно проеденный собственной учёностью, безжизненный какой-то, с иссохшимся лицом престарелого младенца в затемнённых — глаз не видать — очках... В общем, Брежнев наладил его вместе с переводчиком.

Вынул початую «Столичную» из ведёрка со льдом и объяснил Брандту, что Сталин велел создать эту водку к Параду Победы в сорок пятом.

Ну, Сталин — на всех языках Сталин. Победа — виктория (помимо большой, всенародной Виктории, у Брежнева под боком ещё и своя, персональная, правда, тоже увесистая: жена) — это тоже объясняется весьма просто. Два пальца, буквой «фау» вверх — и даже немому, а не только нерусскому, станет ясно.

Сорок пятый — он тоже на всех языках сорок пятый...

Брандт понятлив, сразу сообразил, что пьют всё же не за Сталина. Впрочем, с этим густобровым — говорят, чем человек бровастее, тем талантливее; у этого талант точно есть: совершенно обезоруживающая, хотя уже и несколько косоротая, улыбка, — с этим парнем он готов выпить и не за такого монстра.

— На-род... Русский, — произносит Брандт, подымая хрустальную стопку. Причём «русский» у него получается даже лучше, чем «на-род».

Брежнев горячо подхватывает: мол, именно этой водкой, даже не кахетинским, Сталин провозгласил свой знаменитый тост за русский народ. За русский. По-хорошему и надо — только водкой.

Брандт опять понял и ответил достойно, почти по-сталински:

— До дна?

Брежнев тоже поднял свой бокал — богемского стекла — и согласился:

— Конечно!..

Брандт хлопнул по-фронтовому, залпом. Брежнев же, по-журавлиному задирая голову, протянул удовольствие. Как бы там ни было, а мозельское куда тоньше, превосходнее даже хорошо знакомых ему молдавских марочных вин.

Закусили крошечными канапе чёрт знает с чем.

«В следующий раз, — подумал Брежнев, — надо научить его закусывать водку как положено: мало-сольным огурцом».

Поскольку официанты по взаимной договорённости тоже выставлены, они налили друг другу сами. Брандт первым, на правах хозяина, Брежневу, Брежнев — Брандту. У Брандта рука командора, каменная, у Брежнева чуть-чуть дрогнула...

Брандт только что подарил Брежневу «Мерседес» последней марки. Тот ещё стоял на площадке перед замком, и Брежнев, по-мальчишески обожавший машины, всё время держал его в памяти, ему не тер-

пелось обновить, оседлать его. Но торопиться нельзя. У него сегодня невероятно щекотливая задача. Надо кое о чём предупредить канцлера, но так, чтобы не догадался никто, кроме него самого.

Ни свои, ни чужие. Свои даже в большей степени, чем чужие.

У канцлера на этот вечер наверняка тоже своя задача. И генсек, похоже, уже уловил её. Речь, судя по всему, идёт о каком-то назревающем глобальном прорыве американцев в области наступательных ракетных вооружений, что может нарушить баланс сил в мире, а в случае любой глобальной разбалансированности первой жертвой дисбаланса неизменно окажется Германия...

Канцлер недооценивал уровень советской разведки и стяжательства в определённых американских кругах. «СОИ» — Брежнев уже слыхал про эту аббревиатуру.

Соя, гречиха, овёс...

У генсека же задача и проще, и сложнее. Надо предупредить канцлера, чтобы был осторожнее. На поворотах. Не в политике — в совсем других делах. Но тоже крепко связанных с политикой...

Брежнев, забыв, что не хозяин, первым берётся за бутылку.

У них мало времени. Такие встречи если и выкраиваются в протоколе, то не больше, чем на четверть часа. Их же четверть давно истекла.

Всё, что надо, налито. И опять — всклень. Нельзя, чтоб его сняли. У меня жизни не хватит наладить такие же отношения с новым. Да и просто жалко будет мужика. Мужик свой, хоть и немец. Как там: что русскому хорошо, то немцу капут? Дудки! Что *такому* немцу капут, то и русскому — херовастенько...

Брежнев пристально вперился собутыльнику в глаза. Ну!.. Уже полночь. В замке такая мёртвая тишина, как будто они тут вообще вдвоём. А ведь на самом деле за метровыми стенами этой, рыцарской, гостиной всё просто кишит людьми. И ушами. Ещё неизвестно, сколько их тут, в воздуховодах, а то и просто, вживую, за тяжёлыми бархатными портьерами.

Рыцари. Два рыцаря разом... Да, действительно странно: с Хонеккером целуется, с этим — только «краба». Но, будь это в его власти, с каким удовольствием поменял бы он их местами! Того — всё время приходится держать за спиной, в затишке, а за этой глыбой и самому можно спрятаться. Передохнуть. Широк, зараза, — Брежневу нравятся широкие, рисковые люди.

По какой-то странной закономерности такие же, как правило, ещё и бабники.

Ага!

— Фюр унзере фрауэн! — напрягает всё своё знание немецкого.

У канцлера удивлённо задираются светлые, тоже волчья, брови.

— Фюр унзере фрауэн! — уже увереннее повторяет Брежнев.

И, когда и бокал, и стопка уже пафосно задраны до самых бровей, вдруг добавляет:

— Унд либен унзере фрауэн..!

Что-то в его голосе заставляет Брандта насторожиться.

Да, за окнами полночь. Луна, видно, опять зависла — пробоиной — над самым замковым шпилем. Опять ждёт жестокая бессонница. Надо бы как-то скрасить её. Кем-то...

Брежnev лукаво подмигнул и крепко-таки хрупнул богемским об хрусталь.

Эх, хорошо бы сейчас добавить по-русски:

— И чтобы они никогда не встречались друг с дружкой... Жёны и — любимые.

— Ба-ба! — раздельно, после того, как опорожнил бокал, акцентированно выдавливает генсек.

Это русское существительное канцлер знает не хуже, чем существительное — тоже существительное! — «водка».

— Бабы, — грустно повторяет Брежнев почему-то во множественном числе. И тянется за канапе: какая-то немецкая х...я с лапкой полыни на почти что пустоте.

— Всё — от них...

И вновь быстрый, но влажный, овчарочий взгляд, под которым Брандт почему-то свекольно, по-юношески краснеет.

И вдруг оба заливаются смехом. Хохотом. Аж по бокам каждый сам себя хлопает: ну конечно же это война и научила их — всегда, пусть между делом, помнить «об них». На одну смотришь — а на фронте их и было: одна если и не на всех, то на тысячи, — а всех, чертовок, жалко...

По-хорошему, надо бы предупредить его о другом. Именно о другом, а не *о другой*. С годами ему ведь, Брандту, подсунули двоих. Парня и девку. Вначале парня — со временем он дослужился у него, начиняя ещё с партийного аппарата, до главного порученца. Полковник!

Дважды полковник, чёрт возьми: у Хонеккера, в штази, у него такие же погоны!

Но про парня надо помалкивать. Парень — золотой запас. Полбюджета ГДР на нём держится: все его сообщения идут через Хонеккера, и за каждое приходится рассчитываться. Этот Эрих только по внешности напоминает неказистого жуль-верновского зоолога (молодёжь нынче говорит: «ботаника») Паганеля, а на самом деле душу за свою Германию вынет. Слава богу, правда, не только чужую. Он и Вилли Брандта ненавидит не как личного, классового врага, а только за то, что его, Брандта, Германия пока по всем статьям обходит Германию хонеккеров-

скую. Чудак, не понимает: это не ему трудно тягаться с Эрлихами-Аденауэрами-Брандтами, а Советскому Союзу пока не под силу соперничать со Штатами: кто больше даст немцу? Вчерашнему врагу, которого во что бы то ни стало надо сделать сегодня союзником. Американцы, правда, дают не только побольше нашего, но и погромотнее: вон, и золотой запас ФРГ велели держать в своих, американских, захватах... Хонеккер — это он и исхитрился просунуть своего офицера прямо за пазуху канцлеру. Наши, русские, сумели окучить одну только мотню, а тот, можно сказать, аж до души добрался. Как там у Толстого, — едко подсказал однажды всё тот же Александров-Агентов (интеллигенты, они как слепые: всегда вычитывают что-либо не только по строчкам, но и между строк): не та баба страшна, что за — ну да, за то самое — держит тебя, а та, что — за душу. А ежели за душу, то тут и разницы нету: что мужик, что бабёнка. Мужик ещё страшнее.

Хонеккер, конечно, молодец, но о нём надо подумать ещё отдельно. Взял да без спросу, без добра из Москвы, рванул в Западную Германию навестить сестру. И не наши, комитетчики, а, наверное, этот самый офицер, с самого верха, и прикрывал его. Ещё неизвестно, кого дважды полковник в конце концов перевербует: канцлера или первого секретаря СЕПГ. Он, Брежнев, еле успокоил потом, на закрытом заседании п/б, Суслова, Громыку и Андропова (надо же: объединились даже, казалось бы, необъединимые!) Мол, сестра-то у Хонеккера болеет, да и самому ему восьмой десяток стукнул. Простата небось и всё такое (впрочем, в п/б все болячки «друзей» знали наперечёт, как и собственные), не мальчик он, чтоб за каждым чихом на Москву оглядываться.

— Вот ты бы, Михаил Андреевич, — спросил у Суслова, — разве не поехал бы к заболевшей своей сестре?

— Не поехал бы, — угрюмо буркнул цековский старец.

— А я бы поехал, — вздохнул Брежнев. — Да сестры нету... Ни большой, ни здоровой...

Про парня надо помалкивать. О той же «соегречихе» впервые узнали через него. Парень своё дело знает тую: сдаёт не столько немцев, сколько американцев. Соображает, что Москве они интереснее. Это для Хонеккера страшнее кошки зверя нет, у Москвы же другие представления о животном мире. А баба — всё равно ничего существеннее, чем штазист, она сообщать не может. А вот нечаянно подсунуть канцлеру — какая-то суeta вокруг него, похоже, началась — или, что ещё хуже, засветить офицера — это вполне вероятно. Сама по себе баба ещё ни одному серьёзному человеку не помешала. Но только если она не разведчица... Лучше — телефонистка... Или медсестра, к примеру...

В обеих бутылках уже оставалось на донышке, и они уже разливали эти самые остатки-сладки, когда в гостиную без стука и безо всякого приглашения-предупреждения вошла красотка.

Уже по тому, как она входила, каким козым и лёгким шагом, Брежnev, ещё не оборачиваясь, понял: красотка!

А когда поздоровалась и учтиво, с монашеским, смежив длиннющие ресницы, приседанием — коленки, как две антоновки, так и выкатились из-под короткого, не по протоколу, платья — поклонившись, попридержала за горлышко «Столичную» в руке у опешившего Брежнева — он как раз доливал канцлеру, — Леонид Ильич окончательно понял и главное.

Она самая!

Кто б ещё позволил себе подобное?

И кто б ещё так заботился о нашей трезвости? — ну, не наши же жёны — пушки заряжёны...

Поклонившись, не вставая, в ответ, он весело оглядел её. Да-а, такую женщину если и осматривают, то как яблоко же: следующий интуитивный порыв — надкусить. Так и брызнет, наверное, соком и мёдом.

Она что-то сказала по-немецки канцлеру. Ласково, но твёрдо. Тот широко откинулся в кресле, опять звучно расхочатся, по-хозяйски дотронулся до её плеча и — ласково же развернул её в сторону двери.

Ну да, так разворачивают свою призовую, чтобы опытный лошадник — Брандт и не сомневался, что Брежнев и был таковым — оценил не только перед, но и зад, круп тоже.

— Генук! — произнёс вслед ей канцлер.

Генсек восхищённо промолчал — опять же с откровенно ожидающей от него завистью глядя вовсю, — а потом высказался:

— Хороша Маша, да — не наша.

— Не наша! — опять же неожиданно серёзно, не по ситуации повторил, оборотившись всем корпусом к своему полуночному собутыльнику, прямо ему в лицо.

Брандт, оказывается, знал и эту русскую присказку.

— Наша! — самодовольно улыбнулся, глядя, как молодая женщина — призовые кобылицы тоже если и обижаются, то не только глазами или устами, а всем своим протяжённым и соблазнительным телом — скрывается за резной и тяжёлой дверью.

— Нет! — тихо, но удивительно трезво произнёс, овчарочным глазом притягивая, оттягивая оттуда же, от двери, канцлеров затуманившийся взгляд, Леонид Ильич.

И даже добавил по-немецки:

— Найн!

И разлил остатки-сладки.

Брандт удивлённо посмотрел на него, но отвечать ничего не стал.

Брежнев поднялся: вид брандтовской красотки почему-то напомнил ему о «Мерседесе» — тогда ещё не было уничтожительно-восхищённого сленга «мерин» — и ему опять донельзя захотелось оседлать его.

Брандт, отяжелевший не меньше собеседника, тоже стал подниматься, поглядывая поверх генсека всё на ту же дверь, за которой только что скрылась его секретарша.

«Понял ли он что-то? — подумал Леонид Ильич. — Ну, да дело его. Хозяин, как говорится, барин. Хочу — то, хочу — глажу...»

* * *

Мне довелось побывать в этом горном средневековом замке во время переговоров Горбачёва и Коля. Мне даже позволено было заночевать там. На память об этом мне осталось долго-долго не покидавшее меня ощущение какой-то *выпиленной*, как выпиливают неподъёмную *штуку*, параллелепипед мрамора или слежавшегося льда, тишины. Другой такой — тоже многотонный параллелепипед, вырезанный по контуру всё той же тишины и непрояснённой (мрамор, видать, чёрный) тьмы, — опочивальни у меня в жизни больше не бывало.

И ещё осталась подаренная службой канцлера Гельмута Коля искусная деревянная коробка с двумя бутылками старого вина: рейнского и мозельского. Правда, совсем уж состариться вину не удалось: не умею я долго хранить такие раритеты.

Пока наши самые большие начальники переговаривались, мы, кто оказался не у дел, прогуливались в здешнем вековом парке. Вниз, петляя между могучими стволами, сбегал серпантин. Приставленный ко мне немец рассказал, что с десяток лет назад «ваш генсек Брежнев», «не очень трезвый», выйдя заполночь после переговоров с канцлером Вилли Брандтом в парадную дверь, сел в припаркованный тут же и накануне подаренный ему «Мерседес», в котором охрана даже ключ зажигания не вынула. Завёл его и — рванул по этой самой крутой и петлявой дороге с горы. Вниз! Охрана, и Брежнева, и Брандтова, всполошилась. Запаниковала: разобьётся! Как пить дать, разобьётся, не впишется в какой-либо поворот!

Побежали, ломанулись, срывая на ходу пиджаки, следом. Крик, гам. Ещё чуть — и стрельба начнётся.

Кто-то один вскочил на притуленный тут же мотоцикл из сопровождения, из почётного караула, и ринулся, взревев мотором и обгоняя «мерина»...

Генсек не врезался. Вписался во все головокружительные повороты и зигзаги. Не лыком шит: он и на «бобике», а не только на «мерине», осилил бы эту

немецкую, всё одно не русскую, дорожку. Правда, не с такой скоростью, но — тоже с ветерком.

Внизу, у подножья, заглушил мотор. Вышел, приглаживая вспотевшие и растрепавшиеся волосы. «Он весёлый и хмельной». Хоть и без полуночной княжны. Засмеялся чему-то своему.

А перед ним в свете непогашенных фар стоит давешний мотоциклист — в штатском. Вытянулся в струнку и даже честь совершенно по-русски, перевёрнутой лодочкой, отдаёт. Один как перст. Как и Брежнев.

Сзади же на них уже обрушился топот десятков ног, обутых в добротные казённые башмаки: сдвоенная охрана, задыхаясь, подоспела. Прорывались напрямки, сквозь чащу, поэтому и поспели. Хотя у некоторых, самых прытких и ответственных, даже белоснежные и накрахмаленные рубахи — уже в клочья.

Последняя песня

Кажется, самое начало восемьдесят пятого. Во всяком случае Эдуард Шеварднадзе ещё на месте, в Грузии, да и Михаил Горбачёв ещё не Генеральный, а просто секретарь, Генеральным станет в марте.

Стало быть, февраль. В Грузию мы добираемся с неожиданной посадкой в Минводах: погода, Тбилиси не принимает. Я уже работаю на Центральном телевидении, правда, ещё не заместителем председателя, а политическим обозревателем. В стране что-то назревает. Одна за другой проследовавшие высокопоставленные смерти просто должны чем-то разродиться. Жизнь?

И я, будучи образцовым политическим обозревателем — всё-таки номенклатура секретариата ЦК КПСС, — надумал снять программу о русском языке в Грузии. Ну да где же, как не в Грузии, на родине самого высокопоставленного русиста в истории и снимать её? Язык межнационального общения — тогда только входило в моду это определение. Язык дружбы, ну, и всё такое.

Герои нашей программы: грузин, азербайджанец, армянин, русский и просто тбилисские евреи — на каком же языке им и общаться друг с другом, как не на русском? Наша съёмочная бригада — стопроцентно русская белокурая редакторша Тамара, чистокровная, породистая еврейка режиссёрша Нора, я со своим моршанско-азиатским происхождением, видеоинженер неопределённого

возраста и ещё более неопределенной национальности — все мы, особенно после того, как за сутки непредвиденного кантования в Минводах проели-прожили там все свои суточные и, прибыв наконец в Тбилиси, целиком и полностью оказались на попечении принимающей стороны, которая самым неустанным образом следила прежде всего за тем, чтобы мы, не дай бог, не просыхали ни днём, ни ночью, все мы между собою тоже общались исключительно по-русски. Особенно по вечерам. Человек сухой — он, конечно, способен и на своём, первородном, а вот человек мокрый или, так выражимся, регулярно подмачиваемый, почему-то больше всего тяготеет по вечерам к исключительно русским выражениям.

Особенно интеллигенция. Я в жизни не встречал более искусных виртуозов творческой перебранки, чем на Центральном телевидении последних советских лет. Может, сама тогдашняя действительность (сегодняшняя предполагает более прямые выражения), сама уходящая советская натура оттачивала язык телевизионного закулисья до бритвенной, эзоповой остроты.

— Это не звукозапись, — говорила вечером доисторически величественная Нора нашему звукоинженеру (вон кого ещё я забыл, перечисляя коллег), прослушав дневную ленту на допотопном тогдашнем переносном магнитофоне «Награ».

— А что? — печально спрашивал тот.

— Это — звукожопись! — поясняла Нора.

— А-а... Ну, каким местом думают, таким и говорят, — вполголоса парировал инженер, опасливо оглядываясь на меня: ведь все диалоги на «Нагре» — с моим активным участием.

Мы записывали директора местного медеплавильного комбината, азербайджанца. Директор начинал когда-то с лома, не цветного, и с мартеновской печи. Сейчас его снедала какая-то профессиональная болезнь. Он высох, обрезался и выразительнее всего говорил — глазами. Огромными, чёрными, воспалёнными очами, в которых неимоверно расширившиеся — вероятно, от постоянной нестерпимой боли — зрачки двумя горячими, бездонными полыньями, летками провалько зияли среди жёлтых, в прожилках, белков.

Особенно когда смотрел — его, как взнужданного, постоянно тянуло, кренило в её сторону — на статную, моложавую, медноволосую женщину (русскую — вот вам самый совершенный и самый вожделенный же язык нашего мужского наднационального общения!), неизменно сопровождавшую его. Кажется, главного бухгалтера того же передового горно-обогатительного комбината.

Угадывая его взгляд, она печально оборачивала к нему свои прекрасные голубые. Если у него прова-

лы, то у неё — прогалины. И даже — проталины. Те, что не на земле, не в земле, не в преисподней, а — в небесах.

Вот что по уму надо было бы снимать! Прощальный диалог этих умных и печальных глаз. Мужских и женских. Вне национальности.

К слову, заключительным вечером, когда мы сидели в горах в каком-то здешнем азербайджанском шалмане (даже в Грузии здешние азербайджанцы готовят лучше всех других) — женщина, всё время потихоньку, виновато взглядывая на нас, как будто сама и была его болезнью, меняла перед ним местами бокал с шампанским и бокал с боржоми — он поманил меня с собою во двор и, взявшись за локоть сухими, горячими и уже почти что птичьими пальцами-косточками, прошептал:

— Сними и её... Сними, пожалуйста... На память...

На память. Как будто собирался неказистый наш сюжетец захватить с собой и на тот свет.

Я обернулся: она, светясь изнутри, из шалмана, своим чудесно плодовитым контуром, тревожно выслушивала его — одного его! — в зябкой февральской тьме.

— Да, — ответил я и повёл его назад. К порогу. К ней.

Как в воду глядел директор. Где-то через месяц она разыскала меня в Москве. Взошла, как в низкий небосвод, в мой унылый доселе кабинет. Сильное и неподражаемо медное тело — неужели это на каких-то там богом забытых горно-обогатительных комбинатах — схвачено тонким, но неотвратимо смертным крепом точно так, как весь её собственный обворожительный контур в хлипком дверном проёме был обведён и схвачен когда-то ртутным силком тревожного света.

Поставила на приставной столик передо мной марлей, а не крепом, белым, прикрытую корзинку с фруктами и двумя бутылками коньяка:

— Помяните...

Тогда-то я и передал ей кассету. Мы ведь накануне всё же втиснули её в передачу: куцый, но вполне царственный проход по обшарпанному конторскому коридору. С закадровым текстом: «Люди многих национальностей работают на металлургическом горно-обогатительном комбинате, которым руководит Герой Социалистического Труда такой-то...»

Под таким обобщённым именем она, анонимная царица, и прошла у нас: «люди разных национальностей». Впрочем, в то время так и принято было: коли разных национальностей, так это — о русских...

Да, а наш герой — и был Героем...

Царица, царевна и Герой...

Она молча и грустно спрятала кассету в свой ридикюль.

Передала ли дальше? Не знаю.

Ещё мы снимали тогда второго секретаря ЦК компартии Грузии Никольского. К Шеварднадзе нас не подпустили. Да нам, собственно говоря, в верхах и потребен был русский. А в те времена «вторыми» в республиках и автономиях и сидели как раз они. Наши. Русские. Как в царские времена: рядом с губернатором сосуществовал ещё и генерал-губернатор...

И — третьим — грамотный еврей при губернаторе...

И ещё мне очень хотелось снять грузинского поэта. Чтоб он прочитал что-нибудь в кадре по-грузински и по-русски. Передача-то — о языке...

Почему-то выбор мой пал на Ираклия Абашидзе. Скорее всего в силу того, что я всегда увлекался Пастернаком, а у него есть прекрасные переводы грузинских поэтов. Из которых в живых на то время и оставался, наверное, один Абашидзе.

Старик, правда, долго отнекивался: у него уже не было голоса. Рак горла. (Совпадение, но в той программе оказалось много болезни и сошлись сразу два смертельно больных человека. Может, Большая Болезнь уже вообще пропступала на наших всеобщих щёках?) Но я уломал его. Он уже внешне очень понравился мне: высокий, величавый, не столько с горским, сколько с горным, горним профилем. Вон даже серебряная осыпь, навись окаймляет горбатую, чистую плешь, как льдистый оселедец какую-нибудь горную вершину. А голос — мне показалось, что эта мучительная, не бодрая, не гладенькая скороговорочка, а хрипота добавит программе драматизма. Правды, что ли.

И вообще я всегда любил стариков. Пока, может быть, сам не стал одним из них.

Мне казалось, что уже само время начинало говорить так. Мучительной судорогой натягивая не только голосовые связки, но и сами жилы. Особенно — на русском.

Деда в конце концов, повторяю, мы уломали. Он согласился-таки сказать несколько слов и о дружбе народов, и о русском языке. Вспомнил даже Бориса Пастернака и свои стихи — в его переводе — прочитал. По-русски в его, а по-грузински — в первоисточнике.

Но место для чтения-размышления выбрал сам.

Повёз нас под Мцхету. Место известное, неподалёку от Тбилиси. Одна из самых древних христианских святынь в мире. Свети-Цховели. И — Джвари. Церковь, монастырь, больше похожая на крепость. Когда я смотрю на такие устрашающие цитадели, у меня закрадывается сомнение в миротворческом пафосе любых религий. Крестоносцы, турецкий султан Мехмед Второй, несколько месяцев возивший в походном сосуде с мёдом отрубленную голову своего врага, двадцатилетнего польского короля Владисла-

ва, пытавшегося спасти Византию и в целом христианство на Востоке...

Твоими устами — да мёд бы пить...

И крест очень уж похож на тевтонский меч, и полумесяц на кривую бухарскую саблю...

Но есть памятники, которые способны пережить и саму память того или уж тем более тех, во имя чего и кого они поставлены. Так и Мцхета, так и Джвари, эта Ай-София Кавказа.

Предводительствуемые, как патриархом, поэтом — многие паломники узнавали его, а кто и не узнавал, всё равно почтительно расступались, — мы бродили по сей удивительно гармоничной, хотя и тяжеловесно, несокрушимо *оседлой* каменоломне разинув рты. В одном из приделов Абасидзе показал едва угадываемое, тоже *обобщённое* изображение Христа на смильте. Мол, одна из самых первых на свете икон, один из первых, чуть ли не с натуры, *ликов*. Из самого Иерусалима... Мы склонили головы. И льнокудрая Тамара — *Тамара!* — и огнеокая Нора крестились с одинаковой атеистической истовостью.

Нет, он не стал читать в храме. Взбрался, с помощью нас и своего чернёного посоха — и впрямь патриарший! — на одну из возвышеностей неподалёку: тут и сказал, прохрипел, проклекотал, с уже надорванным, кровоточащим горлом, свои слова.

О дружбе.

О русском языке.

О гении Бориса Пастернака, без которого даже некоторые грузинские гении несомненно помельчали бы.

И, уже окончательно задыхаясь, прочитал что-то своё.

Я не помню этих стихов. Да и слов его, по существу, не помню. Я только до сих пор вижу его самого. На фоне незыблемо остойчивых Джвари и Свети-Цховели и прочих глыбоподобных вершин. Над шепелявящими где-то внизу (оказывается, лесбиянки, страстно обнимаясь, теряют речь, как и мы, нормальные, а впрочем, шепелявили они со старцем вполне синхронно) Курой и Арагвою. Если храм напоминал исполинскую, каменную и каменными же тяжами стянутую бочку, если горы напоминали окаменевшую синусоиду каких-то душераздирающих, нечеловеческих криков, а речки — оброненные с бешеною высоты пару перьев одной и той же неведомой птицы, то старик в своём чёрном и длиннополом драповом пальто, с непокрытой плешивой головой и с тростью, которую он, сотрясаемый ветром, попеременно перехватывал то в одну, то в другую руку, напоминал просто престарелого путника. Вот он стоит, обессилев и обезголосев, перед какой-то неприступной, заколдованной и заповедной башней и

всё-таки пытается, сilitся — остатками хрипа — докричаться. Достучаться.

Оплешивевший Авраам в канун своего знаменного жертвоприношения... Он ведь тоже наверняка — и молча — вопиял.

Мы записали. «Авраам», подав руку, тяжело спустился к нам. Покрасневшие глаза его слезились от ветра.

— Гениально! — кричала Авраамова дщерь Нора, оборачиваясь то к поэту, то — со сразу с посуревевшим лицом — к уроженцу мордовских чащоблагерей, звукорежиссёру.

«Гениально!» — будет заклинать она почти что свою иудейскую тёзку «Нагру» поздней ночью в гостинице. И, забегая вперёд, скажу: позже, в Москве, они с инженером всё же каким-то чудом исхитрятся и вытянут звук, и нам, несмотря на тогдашние строгости — в эфире, считалось, всё, и физиономии, и голоса, и сама жизнь, должны быть идеальнее, чем в жизни, — всё таки разрешат использовать этот кусок в передаче.

Авраам спустился (трость, конечно, будет *потомнее* пастушьей герлыги, но и времена, как и пастыри, ведь другие). И пригласил нас всех в ресторан, почтительно, почти раболепно прилепившийся неподалёку от Мцхеты («жре» и «жра», по-моему, всё же одного корня). Мы конечно же согласились, на «свои» давно не рассчитывая.

В ресторане горел камин, сложенный, похоже, из таких же глыб, что и Свети-Цховели, и даже Джвари: сосуществуют, видимо, издавна. Вино, шашлыки, всё в устрашающих количествах.

— Мы же вас разорим! — шептал я старику на ухо. Телевидение ведь уже тогда было весьма прожорливо.

— Не волнуйся, сынок! — улыбался он. — Меня ведь знают не только в церквях.

И вправду — не только. Других посетителей с нашим приходом как-то сразу бесшумно выставили, а они всё равно то и дело заглядывали, приотворяя тяжёлые, железом проклёпанные двери: поглязеть на патриарха.

Потом он подозгал такого же, как сам, старику с дудукой. Тоже — пастух, но сменивший пастуший посох на пастуший рожок.

— Сейчас он доскажет вам то, что не сумел сказать я, — просипел мне на ухо Авраам.

Господи, что же за мелодия была! — никогда не слыхал я ничего более печального и завораживающего.

Мы онемели.

Дудуку, если не ошибаюсь, мастерят из тутового дерева. Мне казалось, что это поёт и шёлково жалится старая тутина, любимая моя тутина, *шёлковица*, на которой, в благословенной ветвях которой, летом,

мальчишкою, я просто жил, иногда укладываясь в её могучей колыбели и на ночь.

И которую я вместе с отчимом срубил на дрова во время смертельной болезни матери.

Матери к тому роковому времени исполнилось сорок пять. Мне — четырнадцать. Тутине, наверное, двести...

Камин за пастухом пылал Антоновым огнём.

Я ещё раньше уже заметил, что у поэта из правого глаза всё время подтекает слеза. Болезнь есть такая. Теперь же мне показалось, что она перекинулась и на меня. Причём на оба глаза разом.

Не говоря уже о моих роскошных богомолках.

— Ну вот. Теперь ты понял, что я хотел сказать? — прошепелявил Абашидзе, приобнимая меня за крепко дрогнувшие плечи, когда дудука умолкла.

И вся моя бригада, включая даже непробиваемого оператора, шмыгая носами, дружно полезла по карманам, надеясь хоть что-нибудь выгрызть там, дабы пополнить, в благодарность, пастушью тощую суму.

Старики обнялись. А подошедший к ним хозяин, тоже почему-то размазывая слёзы по щекам — как же такого чувствительного и хлебосольного гнать из храма? — тучно накрыл их обоих. Из-под этой разом образовавшейся дородной горы всё ещё, родничком, шепелявила старенькая дудука — вот что и напоминал его снедаемый раком голос! — старенького поэта:

— Они — из Москвы... Пускай и Москва знает, как сегодня плачет Грузия...

Может, и впрямь его изувеченным, кастрированным неизлечимой болезнью голосом пыталось, силилось сказать что-то, предупредить о чём-то всех нас само грозно надвигавшееся, уже жаждавшее немыслимых жертвоприношений тогдашнее время?

Впрочем, время не бывает тогдашним. Оно, в отличие от нас, всегдашнее.

И дудука, возможно, скорбно пела, рыдала и о том, что за февральём наступит — март?

Март восемьдесят пятого...

На окрестных горах, обратил я тогда внимание, зелени ещё не было. А вот другой цвет — почему-то преимущественно кроваво-алый — уже брызгами, сгустками, там и сям, будто горы кто-то уже кропил им сверху, пропускал.

Наверное, зацветал миндаль, ведь он цветёт первым.

Вскоре после передачи Ираклия Абашидзе тоже не стало.

Где сейчас та кассета? Куда продолжила свой путь?

Я не знаю. У меня её нет.

Рубцов и Бродский. Устраиваемся на величественную работу

Я оказался современником двух безусловно гениальных русских поэтов: Николая Рубцова и Иосифа Бродского. Благодарю судьбу за то, что лично ни с тем, ни с другим она меня не свела. Я вообще против личных коротких знакомств с гениальными людьми. Точно так, как нет никого великого для лакея, точно так и нет никакого гения для самой нашей человеческой оболочки, что, по выражению Сартра, и есть собственно человек. Ну не признаёт она, оболочка, никакого там священного огня где-то там, внутри самой себя, который только доставляет ей определённые человеческие, досадные неудобства. Той же лампаде, которая всегда напоминала мне школьную мою чернильницу-непроливайку, куда спокойнее и комфортнее, когда конопляное или деревянное масло в ней не горит, не прогорает, а тихо-мирно прогоркает. Точно так, как лакей в конечном счёте и крутит-вертит своим хозяином, так и оболочка наша, вроде бы призванная обслуживать то, что внутри, так и тужится самолично представлять нас в миру. И две этих сущности, внутренняя и внешняя (поди ещё разбери, какая из них существеннее) чаще всего не совпадают, да и не могут совпадать: слишком разные у них задачи. Представляю, как трудно, подчас даже стыдно было окружающим общаться с *внешним*, как-призывным, самовлюблённым и невероятно непредсказуемым Мандельштамом — при том, что внутри у того пылал несомненно божественный огонь. Да что там Мандельштам — сам Иисус из Назарета, говорят, бывал не идеален: мог наслать беду на обидчика.

В этом плане совершеннее, гармоничнее всех, наверное, Чехов и Пастернак. (Ну, не все же рождены непорочным способом, встречаются, встречаются-таки — и весьма обыкновенным.) Но эта гармоничность, интеллигентность сосуществования внешнего и внутреннего (высшая мера, апофеоз интеллигентности и состоит как раз в невмешательстве в дела друг друга), думаю, давалась им обоим со скрипом зубовым, который, по интеллигентности, они тоже глушили, душили внутри самих себя.

Я рад, что так и не встретился в жизни с моими несомненно гениальными современниками, что совершенно избавило меня от малейшего разочарования в них как в человеческих существах.

Но я страшно сожалею, что стихи Бродского прошли мимо моей юности. И Рубцов, и Бродский старше меня где-то на семь-девять лет. Но стихи Рубцова я всё же узнал, успел узнать практически при его жизни — речь о том впереди. А вот Бродского прочитал впервые тогда, когда он уже давно жил за границей. Бродский умер значительно позже Руб-

цова. Но у меня навсегда осталось ощущение, что поэзия Рубцова коснулась меня своим божественным крылом ещё при его жизни, а вот «бродская» стала как бы удивительным, ошеломляющим эхом — даже не из-за «бугра», а откуда-то дальше. И глубже. Хотя он ещё был жив и мы, в общем-то, провели «согласно» немало времени в так называемых «новейших временах».

Даже независимо от того, кто ещё был в живых, а кто уже нет, стихи Рубцова пришли ко мне «отсюда», почти с околицы, с поля, что ли, ручьём, таинственно совпавшим с током моей собственной крови. А вот стихи Бродского достигли меня каким-то инверсионным и если и не пугающим, то явно строгим подземным гулом.

«Звезда полей», первая серьёзная книга Николая Рубцова, дошла, докатилась до меня в Ставрополе году в шестьдесят седьмом. По-моему, принёс её в редакцию всё тот же Николай Марьевский. Он был не только самым щеголеватым, расфуфыренным, насколько это возможно было в Ставрополе в шестидесятые, но и самым поэтическим из нас, что ли. Играли на гитаре, а от хороших стихов, даже чужих, поскольку своих он, слава богу, не писал, у него выступали слёзы на глазах. Дружил с детским поэтом Александром Екимцевым, уроженцем боровой Брянщины, волею судеб оказавшимся на голом Ставрополье: одна из его поэм, помню, называлась весьма ностальгически: «Брянский лес». Николай никому не давал книжку больше, чем на ночь, предпочитал читать нам её самолично, вслух, причём голос его в иных местах действительно дрожал, а в и без того белёсых ресницах запутывалась ещё более светлая, окончательно польская слеза.

Переспал со «Звездой» в свой черёд и я — она и ходила по редакции как дорогостоящая гетера, хотя и издана в самом простецком, «мягком», хлопчатобумажном платьице.

Меня поразили даже не стихи как таковые, не слова — меня сразила сама их интонация. Так обрачиваешься, вздрогнув, на певчий голос незнакомой женщины, уже уверенный, что она — прекрасна.

Позже о Рубцове мне рассказывал и Саша Мосинцев, тоже большой, хоть так и оставшийся, к сожалению, «провинциальным», региональным, поэт. Саша Мосинцев, ныне как и Екимцев, тоже, увы, покойный, — с нашенских, казачьих мест, учился в Литинституте вместе с Рубцовым. Много чего болтают о Рубцове литинститутских времён, но рассказы Саши Мосинцева, должен сказать, были весьма целомудренны: он тоже ценил в Рубцове главное, существенное.

А уже в Москве в руки мне через Лёню Мелкова — господи, а ведь и его тоже уже нету на белом

свете! — далась и самая первая, вообще не в «политурке», а в обветшалом халатике, книжица, по существу брошюрка — «Сосен шум». Да ещё и с рубцовским автографом, где, правда, — наверное, по недостаточной трезвости обоих — Лёнино имя было перепутано с «Алексеем». Сейчас это уже библиографическая редкость, даже и без автографа и даже без собственноручной, авторской ошибки в нём. Но я тогда, по младости лет, ухаживал за одной замужней женщиной и сдуру передарил ей этот чужой бесценный дар.

Женщина мне так и не далась, а вот книжица, звёздочка — сплыла. Вряд ли эта теперь уже весьма зрелая дама сохранила её во всех своих последующих замужествах и прочих женских пертурбациях.

Дурак!

После мне пришлось издавать и полное собрание сочинений (господи, да разве может быть у таких певчих вертопрахов нечто *полное*: это же всё равно, что собрать и подшить всё ненароком оброненное ласточкой-касаткою, что даже к небу подвязана исключительно шёлковой ниточкой своей же нечаянной трели!) Николая Рубцова, редактором-составителем которого и был как раз всё тот же Лёня Мелков, тоненький, щупленький, с северной, пеночки, скороговорочкой, сам хрупкостью и явной нежизнестойкостью так напоминавший Рубцова, которого не раз привечал и прикармливал — с узенькой ладошки, как и прикармливают доверчивую и вечно голодную птаху небесную. К слову, учёными, сурьёзными людьми замечено: птицы зимою гибнут вовсе не от холода — от голода. Привечал и прикармливал, будучи в своё время, повторяю, редактором «Волгоградского комсомольца».

«Ласточка, что ж ты, родная, плохо смотрела за ним?..»

А за ним самим, незадачливым русским птахом? — и редакторы, и ректоры, друзья и подруги... Все мы...

Да разве ж присмотришь за такими? За ними губительно присматривает в свою не знающую промаха оптику сама Судьба.

Лёня же однажды и привёл в издательство Людмилу Дербину, женщину, с именем которой и связывают гибель Рубцова. К тому времени она уже отсыпала. И почему-то захотела встретиться со мной — думаю, лишь потому, что я всё-таки был директором издательства. Я и посейчас не очень верю, что она могла, по пьянке ли, из ревности ли к его стихам — сама тоже была «поэтессой», — пресловутым шарификом задушить Николая. Но встретиться с нею я всё же не смог. Душа не налегла. Бог с ними, с оправданиями: мне, как и Мосинцеву, тоже важнее было и остаётся единственно важным — *существенное*. Без бытового, обыденного рутища.

Да, признаться, и боязно было взглянуть в глаза этой женщины: бог знает, что бы я там увидал. В принципе, за спиной каждого из нас разверстая пропасть. Но есть пропасти, вернее, люди есть, встречаются, у которых пропасти разверсты прямо в глазах. Скелет в шкафу. Скелет — он и при жизни был анатомическим скелетом — Рубцова я видеть не хотел.

В общем, через секретаршу, отправил их с Лёней к заместителю.

Я не собираюсь препарировать стихи ни того, ни другого. Тем более что в этих штудиях я вовсе не силён. Вон попробуй пропартируй Державина — от громадного поэта, даже от его непревзойдённого в русской поэзии «Водопада», останется только громадный каменотёс. Ещё точнее — камнепад.

Мне только хочется написать, представить, как они оба, Рубцов и Бродский, устраивались на работу.

* * *

И ёщё для меня важно, что они оба, кажется, не сказали при жизни друг о друге ни слова. Ни хорошего, ни плохого.

Хотя практически в одно и то же время находились в одном и том же злоречивом городе Ленинграде. Правда, литературные кружки у них были совершенно разные, полярные. У юного Бродского богемный, надомный. У Рубцова, что чуть постарше, при каком-то заводе. Кружок, носивший наименование наподобие злосчастного «Закала» двадцатых — название, которое один из поэтов-интеллигентов, не из рабочих и даже не из крестьян, предлагал писать раздельно и с восклицательным знаком в конце...

Бродский, повторяю, пришёл ко мне поздно, уже из-за бугра — в моей родной Николе (у меня она тоже, как и у Рубцова, рифмуется с «начальной школой»: практически у каждого русского есть своя Никола, либо по царю, либо по Николаю Чудотворцу), так вот, в родной моей Николе не только солнце, но и вообще все новые люди приходят из-за бугра. Поэтому как лежит она в степной глубокой балке. Что, как и любое женское лоно, чуть-чуть, для приличия или дополнительной притягательности, опущена лёгкими, дневными сумерками нашей скромной ногайской листвы.

И саму эту фамилию я впервые услыхал вовсе не в связи со стихами. Вернее, услыхал тогда, когда о стихах его ёщё не имел решительно никакого понятия.

Фамилию «Бродский» я, тогда недавний глубокий провинциал, впервые услыхал даже не из «Голоса Америки» (где, попозирию, меня тоже читали в конце семидесятых — начале восьмидесятых, чем я был здорово напуган), а от своего друга, однокашника и однокоштника по интернату Николая Кошеле-

ва. Николай раньше всех из нашей дружной интернатской банды, в которой нас и по сию пору разъединяет только непрошенно, втирущее вторгающаяся смерть, поступил учиться в институт. И не в абы какой, а в Московский Второй медицинский. Закончил его и то ли на преддипломной практике, то ли уже на работе оказался в селенье Онега в Архангельской области. Он и рассказал мне, где-то в семидесятом, как ездил однажды из своей Онеги (помоему, это райцентр) аж в другой район, в деревню Норинскую послушать об «отсиживавшем» там в шестьдесят четвёртом ленинградском поэте с речной фамилией Бродский.

Не буду врать: я не помню конкретно, что именно рассказывал мне Николай о своей поездке, какие именно «следы» пребывания поэта нашёл он в Норинской — зная Николая тех лет, могу предположить, что заявлялся он к оседлым старожилам, как минимум, с двумя бутылками водки, а уезжал порожняком и, дай бог, чтоб на своих двоих. Но фамилию *Бродский* я услыхал именно тогда. От новоиспечённого детского врача Николая Кошелева. Я тогда ёщё сам писал стихи — тем позорнее было мне не знать этого имени. Николай же стихов не писал, к моим относился пренебрежительно. Но жил и учился в Москве, пока я прозябал то на действительной, в армии, то в патриархальном Ставрополе.

Общежитие мединститута тоже находилось по улице критика Добролюбова, дом 34, рядом с литинститутским, выпивали перекрёстно-гнездовым способом. Возможно, этим ёщё и определялась поэтическая осведомлённость «медиков» в именах тогдашнего литературного андеграунда.

Расспросить бы его теперь, задним числом о той северной поездке, да поздно: с 2010 года Николая, умницы и заики, чудесного детского доктора, которым невозможно было пугать детей, потому что они, спасаясь от докучливых родителей, липли к нему уже с порога: рыбак рыбака видит издалека — тоже нету уже в живых.

А может, то вовсе и не дети, пылая от температуры, липли к нему, а только их болезни? — так деревенские хозяйки на кусочек сахара выманивают из потаённых уголков всякую кровососущую нечисть.

Умирал Николай, как когда-то, в семидесятых, и дядька мой Иван, от опухоли мозга, но ёщё тяжелее: ведь это только считается, что знание — сила, а на самом-то деле... Умирал в хосписе. Заикам, как известно, даются песни, а ёщё полнее, как выяснилось, стоны. Жена его рано утром пришла, а он уже не просто заика, а — немой. Ещё тёплый, но уже — немой. Интернатское своё заикание довел до полного совершенства.

Ещё один путевой православный крестик и на моём пути...

Ещё одно совпадение: Рубцов и Бродский устраивались на работу почти в одном и том же месте: в Архангельской области. И примерно в одно и то же время.

Только для Рубцова она была родной, почти что второй — за ранним отсутствием первой — матерью. Для Иосифа Бродского же, у которого родная, родимая, слава богу, была ещё жива — злую мачехо.

И вот я представляю... Вчерашний детдомовец Коля Рубцов приходит в отдел кадров Архангельского рыболовного пароходства.

* * *

Анемичная вермишелька, которую с трудом выловили черпаком, корцом в пустом, без мяса, казане и удивительным образом на попа поставили...

Отделом же кадров Архангельского тралового флота командовала бой-баба.

Сама начинавшая когда-то рыбообрабочницей на плавучем рыбозаводе. Потом буфетчицей, а из буфетчиц путь наверх, почти что на капитанский мостик, сами знаете, куда прямее, чем из любой плавучей, корабельной преисподней.

Да, добралась-таки и до мостика, стала — со временем, сперва временно, сезонно, так сказать, подменяя законную, а потом и совсем уже законной, — капитаншей.

Капитанской женой.

Но капитан попался совсем уж бывалый: ещё в войну, под «Мессершмиттами», водил посудину свою по Северному морскому пути. Немецкие «мессеры» пикировали на него сверху, а английские и американские «Дугласы» и «Студебеккеры», затянутые брезентовыми тентами, стояли на его палубе.

Сперва контузило, потом ранило, и к моменту появления в её сувором и голом кабинетике русоволосого прыщика капитанша — к тому времени и у неё уже весьма сурьёзные шевроны появились — уже несколько лет была капитанской вдовой.

Если б её, из крутого, но всё ещё сдобного теста спряжённую, тоже на вермишель пустить, то хватило бы на целую судовую команду.

Макароны по-флотски!

Она входила в кабинетик, как входит, влезает, обдирая бронированные бока, авианосец в какую-нибудь курортную лужу.

«Гавань не по размерам!» — восхищённо подумал юный Рубцов, опасливо переминаясь с ноги на ногу.

И потихонечку подсунул на крытый серым, шинельным сукном стол два заранее заготовленные листочки в клеточку.

— Здравствуйте...

Капитанша не ответила, копаясь в каких-то своих бумажках-промокашках. В углу накрашенных губ коптила «беломорина».

Рубцов подвинул свои листочки поближе к ней, к волнорезным грудям с таким трепетом, словно это были его стихи.

Баба вынула изо рта папироску, выдохнула шумно и дымно, и рубцовские стрекозы листики жалко поплыли над столом. Он успел поймать их и, опять же как отверженные стихотворения, водворил на место.

Вполглаза взглянула на заявление, на автобиографии же задержалась.

— Детдомовец? — взглянула наконец на соискателя.

Рубцов кивнул.

Капитанша снова сбила указательным пальцем ноздреватый пепельный нарост на «беломорине» прямо на грубо окрашенный пол. Если б она с такой же силою щёлкнула тем же указательным пальцем по головёнке, что облетевшим пестиком торчала сейчас перед нею на квёлой цветоножке, то та так и отлетела бы.

— И кем ты хочешь?

— Матросом...

— Дурак, — спокойно сказала и вновь воткнула, привычно прикусив, «беломорину» в зубы. — Дурак! — повторила. — Ты посмотри на себя.

И впервые сама оглядела его с головы до пят. Он стоял перед бой-бабой как будто не просто тощий и хлипкий, но ещё и голый. Как перед призывной комиссией, которая ещё в четырнадцать лет, допризывником, первый раз забраковала его.

— В чём душа держится, — не спросила, а грустно констатировала. — А туда же... Жеребца куют, а жаба лапу задирает...

Рубцов засмеялся: он никогда не слыхал такой пословицы. Улыбка преобразила мальчишеское лицо. Было вост्रое, злое, как у загнанного зверька, а тут — застенчиво осветилось. Детдомовцев после войны развелось так много, что ими уже не умилялись: нахальны, резки, сплошь уркаганы. Чем голоднее, тем злее. Но тут у начальницы что-то дрогнуло и тоже, как и у мальчишки, выглянуло — другое. Другая. Другая женщина, и именно женщина, усталая и тоже не очень счастливая, на миг проглянула сквозь бой-бабу, пребывающую в вечном противоборстве со своим в меру плавучим контингентом: то пьют, б...ди, то тонут... Пацан, шейка вон совершенно цыплячья. Либо сам свернёт её, либо свернут. Может, и своих вспомнила, в Ленинградскую мореходку недавно отправленных: уже несколько лет, после досрочного и, увы, безвозвратного, поскольку не в волну, а в глину, отплытия капитана поднимает их, двоих, одна. Такая, правда, и над водой пройдёт, пронесёт, аки посуху...

То, правда, уже даже не отплытие — то уже затонение. Аж больше, чем на два метра, поскольку — вечная мерзлота.

— Ну и что ты там хочешь повидать? Страны, что ли, заморские? — спросила совсем другим, почти материнским голосом. — Ничего, кроме гнилых досок, кроме палубы засранной, уверяю тебя, и не увидишь. Швабра да палуба — боюсь, что и ставить тебя будут вне очереди: слабых во флоте гнобят, а не жалеют...

— Я не слабый! — вспыхнул Рубцов, и лицо его вновь приняло злое, окрысившегося зверька, выражение. — Я не слабак!

Тётка афронт его пропустила мимо ушей:

— ...Тогда б уже в торговый просился бы...

— Не взяли... — угрюмо угнулся он в давно уже сношенные детдомовские опорки. — По весу не прошёл...

«Ну да, — подумала кадровичка. — Вес ещё наберёшь, нагуляешь (как же ошибалась она, прозорливая: Рубцов и помирал со временем дистрофиком — бескорницы так и преследовали всю его коротеньющую, кущую жизнь). А вот *анкета*, — продолжила про себя кадровичка, — там надобна другая...»

И вновь по большому счёту ошиблась морская сивилла: не анкета бы надобна здесь другая, а другая судьба.

На какое-то мгновение бой-баба совсем расквасилась. «А не усыновить ли мне его? — глупо пронеслось на миг в голове. — Вон, даже молоко на губах ещё не обсохло...»

В таком случае сама Россия бы усыновила самого сиротливого из всех своих бродяжек-сирот. Мальчишка и посмотрел на неё уже как не на чужую.

— Подпишите, тётичка. Ну, на какой-нибудь там «Стремительный»... А ещё лучше — на «Пегас», если есть такой в вашей флотилии... Я уже три дня не жрал... — добавил тоном вокзального беспризорного попрошайки.

Ему подвластны и регистры, которые Бродскому были в принципе недоступны — не то, что Россия, тому и Америка матерью никогда не казалась. Гугнить, гнусавить он уже по самой природе своей не мог, может, потому что натурального сиротства никогда не знал, только глобальное.

— Подпишите!

Она даже вскинулась: столь резко и требовательно произнёс юнец.

Во-он ты каков!

Они пристально посмотрели друг дружке в глаза. Россия и её сирота. Глаза у обоих серые, как нежно выстланные пухом степные птичьи гнёзда. Но у России уже не только с пухом, но и со стынившим пеплом, прахом на дне, а у мальчишки, у птака её, одинокого, словно в небе уже, с молодым, резким ещё, птичьим же блеском. Пан или пропал! — два пути у таких...

— Давай я тебя на берегу пристрою... — предложила последний, материнский шанс.

— Нет. В море.

Россия, сдобно-массивная, всё ещё детородная (наверное, верила, что столько ещё будет у неё таких вот, неоперившихся, но уже с колдовским запечатанным голосником внутри, — ан нет, опять ошиблась: раз-раз — и обчёлся), молча начертала что-то химическим карандашом на заявлении. Потом подумала и вынула из ящика своего стола ещё какую-то узенькую промокашку. И протянула её парнишке.

— Возьми. Разовый талон в рабочую столовую.

О, два раза повторять не пришлось: цепкие kostлявые пальцы выхватили, как будто склонули!

— А вообще, — не пей, — прощально и жалостливо произнесла Родина-мать (ей и в самом бы деле не на продавленном стуле восседать, а на каком-нибудь бетонном, вучетичевском постаменте возвышаться). — Не пей!.. — И, сама себе не веря, прощально и обречённо махнула рукой: вон!

— Есть! — крутанулся на стоптанных подборах.

Вот тогда-то, наверное, и родилась первая строчка одного из первых, совершенно ещё не рубцовских, бравурных стихов:

Летел приказ по трашовому флоту:

Необходимо пьянство пресекать!

Ещё сама того не предполагая, Родина-мать, зачислив своего детдомовца на рыболовецкий траулер, предопределила и его дальнейшую, действительную военную службу. На флоте! — куда же ещё. На Северном! — где так не хватало (их почему-то всегда не хватает) таких вот, пусть и задохликов, но безропотных и безотказных, новобранцев и где служили значительно дольше, чем на суше.

* * *

Бродского привезли в деревню Норинскую под вечер. Вообще-то два раза в неделю сюда из райцентра ходил автобус. Заходил — он, как письмоносец, облезжал несколько деревенек и, как раз к следующему дальнему рейсу, приплетался вновь в райцентр. Но по правилам вольнопоселённых (только очень уж *властная* фантазия может совместить несовместимое: «волю» и, императивное, — «поселение», внедрение). К месту поселения — отбывания клиента следует доставлять с сопровождающим. Однако в райотделе никому не улыбалось тащиться в жестяной коробке вместе с осуждённым к чёрут на кулички, а потом ещё и ждать обратного рейса. Так и решено было — везти в мотоколяске, которая положена была для выездов по экстремальным вызовам, по несчастным случаям. Правда, самыми регулярными несчастными случаями чаще всего оказывались рыбаки или охота начальника райотдела. Вызывали сво-

бодного от смены служивого, благо, он оказался в меру трезв, записали ему выходо-день, он и повлёк ленинградского пришельца ещё глубже, в Тьмутарakanь.

В самом деле — не в «воронке» же его везти. Чай, не боярня Морозова. Тем более что и «воронок», крепко расходившийся до пятьдесят третьего, давно стоял на приколе. Пассажира подходящего не было, а в рыбалке-охоте им предпочитали не пользоваться из суеверия: чем чёрт не шутит — сядешь да и задержишься ненароком.

Распутица уже отошла, дороги уже отвердели. Но отвердели в таких нещадных рытвинах и колдобинах, что по самые ноздри брезентом укрытого — так перевозят тайное вооружение — Бродского милиционер доставил к месту назначения как сильно побитого. Милиционер, на котором всего милицейского-то и было — крепко подвязанная под подбородком кожаным лакированным ремешком, чтоб не соскочила окончательно, форменная фуражка, призванная олицетворять, что по пустынным и диким северным стогнам движется сама сумасшедшая власть, — милиционер только матерился и дурашливо хохотал, подпрыгивая на своей пружинной сидушке. Бродский же, молчаливый и укутанный уже как Меншиков в Берёзове, что, к слову, не так уж и далёк от этих мест, стенал, стискивая зубы, при каждом жёстком взлёте и падении.

Россия-мать...

И перематать тоже.

Временами ему хотелось представить себя Пушкиным, влекомым в сибирскую ссылку, о которой тот, дурень, одно время так мечтал. Но в таких условиях даже воображение отказывало. Все органы чувств в отказ уходили. Кроме разве что осязания.

И задницей, и боками, и даже, временами, переносицей «римского» носа своего, которым так гордилась его матушка (сам он не придавал значения ничему в себе физическому, тем более физиологическому), осязая он эту свою, как ему тогда казалось, самую дальнюю, дальше Памира, на край света, дорогу.

К чёрту на рога — рогами его и подбрасывало.

«Если суждено тебе в империи родиться...» — много-много лет спустя вспоминается эта, возможно, в тряске и рождавшаяся строчка и потянет за собою следующие. Сейчас же он думал о другом: какая там к чёрту империя! Империи начинаются с дорог — римляне прокладывали их во все концы света столетиями. Они действуют — под псевдонимами «автобанов» или «хайвеев» — и посейчас. Потому что, прокладывая, прорубая стратегическую дорогу, древние римляне, а точнее их рабы, сперва копали траншею глубиною до шести метров, потом забивали, заваливали, бутовали её шестиметровыми же камен-

ными, преимущественно гранитными, кубами — таким дорогам, на таких каторжных подушках, служить века и века.

Потому и империям таким выпадало стоять — века и века.

А тут всё на соплях.

Какие дороги, такая, чёрт побери, и империя!..

* * *

Доставив своего пассажира прямо в поселковый совет, милиционер Вася-Козырёк (поскольку форменный картуз свой не снимал и после работы, даже на огороде) поспешил сдать его на руки уже предупреждённому (тот был единственным в поселке обладателем телефона и дежурил при нём, как при Красном знамени) и уныло дожидавшемуся председателю, а сам, развернувшись, тотчас дал по газам: пока совсем не стемнело.

Председатель поссовета, щуплый, неказистый, не имеющий возраста, но одетый уже по-зимнему (пассажири еще предстоит узнать, что так, по-зимнему и по-полустариковски, мужичонка выглядит, «выглядает» круглый год), окончательно разочарован. Он-то ожидал, что привезут антисоветчика с пятьдесят восьмой, а привезли, приволокли — тыфу. Тунеядца. Антисоветчики, перепадавшие в прошлом селенью, председателю предпочтительнее. Любят народ, сразу лезут с разговорами — это в деревеньке, где всего двенадцать дворов и где даже домашняя скотинка и та уже общается не словами, а исключительно жестами, — каждый приезжал с бутылкой. Что помимо прочего, ещё и самим деревенским язык развязывало, особенно с учётом того, что автолавка сюда заглядывает раз в две недели. А тунеядец — что с тунеядцем возьмешь? Председатель и сам себя почти что тунеядцем чувствует: целыми днями полторы бутылки на столе перебирает. И те исключительно из районной милиции: как выберется туда, в райцентр, кто-либо из его норинских мужиков, так непременно в вытрезвитель и ночует. Прямо-таки не вытрезвитель, а персональный, норинский Дом колхозника — имелись в райцентрах в те времена такие богадельни, в которых приезжие, зачастую бесприютные и еще чаще бестолковые в вопросах районной цивилизации селяне находили последний ночлег, чаще всего прямо на полу, на соломе.

Надо сказать, со временем районный вытрезвитель не минует, навестит и сам нынешний пассажир, настолько заразной окажется норинская мужская, крестьянская болезнь.

Один только телефон и дает председателю работу: надо смотреть за ним в оба! Не потому что вдруг, неурочно зазвонит, а потому что, вдруг, неурочно — сопрут!

Да, «пятьдесят восьмые» — они, конечно, народники, почти декабристы, сразу, искательно ищут контакт с инопланетянами. С народом, стало быть.

А эти, — неодобрительно взглянул председатель на парня, что так и стоял, угрюмо уставившись в окно, отвечавшее ему таким же смурным, глухим и неприязненным взглядом, — даже без бутылки едут. Оборзели.

Зря ждал. Чистый, правда, носатенький — что на витрине, то и в магазине, — шарф вон, как удавку, в три оборота вяжет... Мало того, что нетрудящийся, да еще, наверное, и непьющий. Такого и впрямь только к инопланетянину и можно пристроить на жительство, ни одна вдова не примет.

Настоящий же инопланетянин в Норинской один. Пришлый. Если одиннадцать дворов в Норинской еще как-то, по-северному, чтобы теплее было, кучкуются, то этот, и мужик, и двор — как будто тринадцатый. Сам по себе. Остальное немногочисленное население Норинской здесь и поселяно и взошло, этот же, судя по всему, поселян где-то далече, в местах покруче здешних, а здесь взошел только после пятьдесят третьего. И сразу не деревом, а — столбом. У такого особо и не спросишь, каких краев и каких кровей, где мыкал судьбу доселе — столб он и есть столб.

Совсем, даже по норинским меркам, бессловесный.

К столбу, как к коновязи, и определил председатель тунеядца.

Тунеядец уснул, как только дали ему тюфяк.

* * *

...Собственно говоря, все мое описание затеяно с одной-единственной целью. Представить, как Иосиф Бродский шёл в первое своё по-настоящему ссыльное архангельское утро получать наряд на работу. Да, Норинская представляла собой ещё и одну из бригад местного колхоза, и осужденному было строго предписано каждое утро являться самолично к здешнему бригадиру, распределявшему подведомственных ему поселян на всевозможные работы, и тоже получать свой персональный «наряд». Изживать, так сказать, преодолевать природное свое тунеядство, леность свою изгонять, как изгоняют преступу. Ну да, года два потруждался на «общих работах» — и стал совсем другим человеком. Возможно даже просто человеком. Аж с большой, прописной буквы.

Во всяком разе не таким лощеным и справным, как сейчас. Чтобы и кости наружу вылезли, а не только нос.

Какую работу мог предложить-расписать первому поэту России невыспавшийся бригадир? Твердо и не без основания уверенный, что настоящие поэты

бывают только мертвые, с фактом смерти, удостоверенным в «Родной речи», а живые из такого рода персонажей могут быть разве что космонавты, но и тех бригадир пока не встречал и во всамделишное, негазетное существование их не особо верил... А тут живой, ходячий, да еще и в Норинской — наверняка тунеядец!..

Я думаю — самую величественную.

Наряд в Норинской проводили в шесть утра, так легче собрать трудоспособных поднарядных. Теплыми и тверезыми. Трудоспособными.

...Как только постоялец удалился за перегородку, председатель поссовета тоже посунулся восьсяси: никто из землян в доме у инопланетянина особо не задерживался — климат какой-то неземной, почти вытрезвительский. К постояльцу хозяин также особого интереса не проявил. Даже не полюбопытствовал, сколько же тот будет платить? Тунеядцы, в отличие от народников, народ платежеспособный. А может, имелись, шевельнулись у хозяина и какие-то другие мысли на сей счет. Во всяком случае, проводил он парня в отдельную каморку почти что здешним, к местности привязанным, взглядом. Как будто даже узнавал в нём что-то своё. Внеземное.

Много позже, когда они всё же познакомятся поближе и даже выпьют — выпьют-таки совместно, ибо поэтические привязанности тоже заразительны! — хозяин, узнавший о национальности постояльца, предложит:

— Ну, тогда считайте, что и я — русско-еврейской национальности...

Хотя на самом деле так и оставался, даже спустя год жизни под одной крышей с осужденным, всего лишь русско-русской...

В половине шестого просто стукнул парню кулаком в перегородку.

Но Бродский и сам уже не спал.

Спустя несколько минут вышел на пустую, холодную и темную улицу и побрел в направлении, указанном ещё вчера председателем. Да направление и было-то всего одно, поскольку изба инопланетянина, как и положено, стояла уже у самой околицы.

* * *

Что думал он, пропихиваясь, пропихиваясь сквозь темень, каковая, казалось, не просто мажется, а еще и бока тебе обдирает? По улочке богом забытого северного сельца, избы которого только-только начинали светиться кошачьими зрачками керосиновых ламп, выискивавших эту нелепую, в шарф закутанную инородную фигуру, как ищут в нечистых своих, цыганских волосах...

После Бродский где-то скажет, что ему доставляло удовольствие идти спозаранок на работу, зная, что

в эти же минуты идет, движется на работу, на труды своя и вся его трудовая, трудающаяся страна. Что в эти самые минуты чувствовал почти духоподъёмное единение с нею, огромной, разноплеменной и подъярёмной...

Такой вот трудящийся тунеядец...

Не верить Бродскому невозможно, всё равно что не верить младенцу. Но мне кажется, что это чувство если и действительно пришло, то пришло оно уж точно не в первый подневольный день. Вернее, утро. Скорее всего, оно и пришло-то к нему только в воспоминаниях.

Дальний, дальний путь его, мне кажется, начался в то осенне утро. И еще дальше, аж через Ледовитый океан, на Север, да и на Юг — до самой Адриатики...

Путь даже не к самому себе, а — в самого себя. Скиталец внутри собственной обременительной-таки земной оболочки.

Направляясь в лучшем случае к профессии колхозного скотника, он, не имевший ни одной из них, кроме разве что той, что и профессией назвать нельзя, уходил в тот горький, предрассветный час — ото всех. Сама тогдашняя промозглая и непролазная темень была почти что та, легендарная, которая обрушилась вслед за еще одним усталым путником — правда, крест на его плечах был не только осязаем, но и вполне видим — в легендарном же Ершалаиме...

И все дальнейшие годы потом изливалась, пером отверстая, точилась из него тяжелыми, печальными, еще парными каплями, которые мы и по сей день не считываем, а слизываем с бумаги, как лижет овчарка промасленный чужой пергаментный лоскут на жирных задворках какого-нибудь «Седьмого континента».

Инородной масличной косточкой растворялся в черных и чуждых русских пределах, чтобы и им, и их крови добавить потом азиатской терпкой вытяжки. Именно тут, на этом угрюмом пятнадцатиминутном пути, они навеки и сошлись.

Разойдясь.

Россия и Бродский.

Вряд ли он сочинял что-либо на этом пути, даже вряд ли думал, помышлял о чем-либо возвышенном. Разве что о том, чтоб не навернуться на очередной невидимой колдобине. Один, Рубцов, — певец и страдалец этой самой, в тот час безжизненно заклекшей «почвы», что, может, в сей же, предрассветный и не совсем тверёзый морок и в его поэтической судьбе, и в нем самом вызревала плодовито-болезненной опухолью, чирьем, нарываем, — врастал в нее. Другой — уже отрывался от нее, проклятой кем-то, как была проклята бесплодием когда-то легендарная же смоковница. Тоже — в империю, но в ту, что уже не знает границ.

Даже Пастернак границы — знал. Может, потому Бродский считал себя *выше* него. С высоты границы, вероятно, и впрямь не видны.

Я рад, что между Бродским и Рубцовым не существовало даже того недоразумения, что имелось между Бродским и Пастернаком. Первые двое, плотно пересекаясь в обыденном времени и пространстве, в поэзии (в вечности?) так и не пересеклись.

И слава богу!

Я знаю о лесоповале, которого вкусили, тяжко испробовал-таки Бродский в самом начале своего «районного», а не норинского заключения. «Начало заключения» — даже игра слов бывает жестокой. И о районной газете, где печатались его стихотворения (в то время, когда не печатали нигде — вон где нарыв-таки прорвался, он просто не мог не найти где-нибудь *отворения*, — ну не в сердце же!). Когдато мы в своей районке тоже печатали если и не совсем зеков, то «химиков», вольнопоселенцев, которые за неимением лесов в Ногайской степи крутили там хвосты быкам или пасли отары овец. Я даже помню очень выразительную, на псевдоним похожую фамилию одного из них — Василий Огурцов, выдающийся, в целом, поскольку орденоносец, фронтовик и такой же выдающийся пьяница, который говорил о себе так: «Пускай я сейчас, в ваших долбанных степях, отступаю, но я еще, попомните, *наступлю...*»

Как наступает божий день...

И о поездках в Норинскую сердобольных друзей знаю. И даже об общем сочувствии, которое обрёл-таки «неполитический», ненародник (это уж точно!) «трутень» Бродский в этой слепоглухонемой, закоснелой в скорлупе своей глухоты и незрячести северной деревеньке, что ныне и вовсе, как и тысячи других, и не только северных, сошла на нет. (Когда к сочувствию способно что-то умирающее, это вообще удивительно!) На кресте тут, как выясняется, висели оба, и Поэт, и Деревня. И, как ни странно, — чего даже в библейских преданиях не отмечено — проявляли, в отличие от своих обожествлённых предшественников, некоторый интерес (даже на крестах!) друг к дружке...

И всё-таки мне кажется или просто хочется так думать, что самыми роковыми, сокровенными, один на один и с собой и с косной, безрассветной своей Родиной-чужбиной, и самыми судьбоносными были именно те пятнадцать—двадцать минут, когда они угрюмо и настороженно смотрели друг на друга. Поэт и Россия. Последняя тусклыми, если и не совсем звериными, то, как минимум, кошачьими зрачками, поочередно зажигающимися в северных её, экономных окошках...

Вот тебе и «Русский огонёк», в другой интерпретации...

Он пришёл, а в конторке никого, кроме бригадира. По всей видимости, бригадир тут являлся единственным, на ком еще держалась деревушка. Потому как рука, которую он, продолжая сердито раскуривать «Нищего в горах», свойски протянул робко воншедшему, была, как вошедший сразу же отметил про себя, не из тех, которыми отдают приказания, скажем, о посевной, а — сеют, молотят, иногда, под горячую руку, колотят.

— Садись.

«Памир» наконец-то разгорелся. Закашлялся не только бригадир, но и Бродский, которому тоже поддвинута по заскорузлой и мозолистой столешнице мятая пачка.

Заветренный и твердый, как кусок черствого ржаного — пшеница тут и не родит — хлеба. Всё ещё донашивает галифе — я и сам знаю, помню по шестьдесят четвёртому: что ни предколхоза, что ни бригадир, то все еще в обносках Победы. Взгляд — как и рука: ему тут, одному, не за телефоном присматривать надо.

Светлый-светлый.

За окошком все еще темень, а в них, в светлоторвых, уже как будто бы и рассвело.

Бродский вздохнул. Похоже, бригадирские подчиненные не торопятся. Или у них тут и время — другое? Во всех смыслах. Протянул трудовую книжку: записи в ней похожи на стихи, частые, но куцые-куцые. «Бугор» — и впрямь если и не бугор, то, судя по росту, точно местная, северорусская возвышенность — сказал, не раскрывая ее:

— Сегодня отвезу вправление, оформлять.

Затянулся — аж скулы слиплись:

— Работать?

— Ну да...

Глянул сквозь едкий, бедностью воняющий дым:

— Иди домой.

Бродский вскинул брови.

— ...Дома работай. Мне тут и своих ангелов хватает.

Они ещё раз длительно посмотрели друг на друга. Как противостоящие окна одной и той же деревенской улочки.

— Иди, — жестко усмехнулся бугор. — Всё, что нужно, я запишу. И трудодни простилю. Сегодня и будет у тебя первый твой трудодень...

«...тунеядец», — про себя закончил его фразу Бродский. Первый трудодень тунеядца — бывает и такое.

Бродский тоже улыбнулся и подал руку. Маленьющую, как у Наполеона, но тоже не привыкшую ни отдавать приказы, ни тем более принимать их к безусловному исполнению. Такие к козырьку моментально не летят, хоть сам он и есть единственный сын военного, офицера и тоже, между прочим, фронтовика.

— Есть! — нахлобучив пыжиковую, матерью спрятанную в дальнюю дорогу шапку, не удержался, озорно и весело козырнул-таки поэт.

Рукой, что приказы, неразборчивые-неразборчивые, училась принимать только из-под того самого, по великому блату раздобытого перед расставанием мамою, «пыжика».

В дверях столкнулся с ввалившимися в конторку заспанными, хрипло перхающими и небритыми бригадировыми «солдатами», а, судя по виду, скорее «партизанами», если и вовсе не «ополченцами». Сам он, вновь прибывший, оказался тут единственno дисциплинированным. Так чаще всего и бывает в армии.

И уже куда веселее пошагал к новообретенному дому. За работу!

В самом деле — величественную работенку препоручил бугор своему новобранцу.

На улице светало. Даже в окошках свет стал менее рысым. Домашним, что ли, — лампы, видать, разгорелись со сна и дремоты.

Время оттепели — в такую-то осеннюю стынь! — время Хрущёва заканчивалось.

Начиналось, потихонечку, по-северному, по-питерски и вологодски-архангельски (*архангельски!*) рассветало время Бродского и Рубцова. Это же время, правда, распорядилось так, что один повит признаком, другой — только любовью. Любовью, возможно, и удушенный.

Но это уже существа не меняет.

Кто будет хоронить Константина Устиновича?

Громыко опаздывал. Что уже само по себе являлось и нонсенсом, и дурным знаком. Негнущийся старик, Фирс, забытый в ореховом, нафталином пропахшем шкафу советской внешней политики, с его скрипучим голосом, давно шаркающей походкою и крепко, инсультно искривлённым ртом — никогда и никуда не опаздывал.

А тут опаздывал. И куда? — может быть, на самое важное заседание в своей жизни. Если не считать, конечно, Ялты.

Адъютант докладывал Горбачёву о прибытии каждого из членов и кандидатов в члены Политбюро. Докладывал со значением и с новой уже сноровкою: адъютант, человек военного звания, хотя и в гражданском костюме, которых вообще-то в цивильной организации, именуемой ЦК, со сталинских ещё времён называли демократичным вроде бы, но совершенно глупым словом «прикреплён-

ный», уже чувствовал скорую возвышенную перемену и в собственной судьбе. И тоже был тревожно и счастливо напряжён, почти в той же самой степени, что и Горбачёв.

Кандидаты и члены собирались в Мраморном зале заседаний Секретариатов и Политбюро. Горбачёв же пока находился в собственном неказистом кабинете секретаря ЦК по селу, отстоявшем на приличном расстоянии от зала заседаний, в котором вообще-то ничего мраморного не было, исключительно карельская берёза.

Напряжение нарастало.

Адъютанту не надо бегать в зал. Ему достаточно выглянуть, отодвинув штору, через пулепропробиваемое окно в приёмной во внутренний двор ЦК. Членовозы вплывали через коваными воротами забранную арку в эту тихую, только им предназначеннную гавань один за одним и, прежде чем плавно уйти на дно, в подземные гаражи особого назначения, настороженно принююхивались слабо светящимися ноздрями друг к другу.

Доверия между ними ещё меньше, чем между их высокопоставленными (высокопосаженными) седоками.

Адъютант узнавал их по номерам, задолго до того, как из лимузина сперва высакивал такой же как он — завтра сам он будет совсем другим — *прикреплённый*, пришпиленный, словно ценник, а потом бережно вынимал с заднего сиденья и саму ценность, что, правда, сплошь и рядом выглядела куда скромнее, скученнее собственной вошённой бирки.

Гришин... Он приехал первым, но адъютант — завтра он станет генералом: шеф, если без сбоев, Генеральным (с большой), он просто генералом, впрочем, «просто» здесь не катит, поскольку у *такого* генерал-майора возможностей поболе, чем у иного маршала, — особого внимания ему не уделил и докладывать о нём шефу не торопился. Даже адъютант понимал, что Гришин, хотя за ним и стоит самая большая парторганизация в стране, — не соперник. И настоящая, прирождённая фамилия не та, и характер: что с него взять? — выходец из профсоюзов, а профсоюзы, конечно, школа коммунизма, каждому кусту учат кланяться, но коммунизм, похоже, и сам сегодня дал дуба бесповоротно и окончательно. Да и не любит страна свою Первопрестольную. И раньше не любила, а сейчас и подавно: не проголосует Пленум, как пить дать — не проголосует...

Щербицкий?.. Тут доложить надо. Этот — красавец. Косая копна седых волос, ястребиная посадка головы. Если бы генсека выбирали женщины (в ЦК их держат только на развод, для отвода глаз), да ещё беспартийные, Владимир Васильевич Щербицкий, Украина, был бы вне конкуренции.

Но почему же до сих пор нет Старика? Горбачёв заметно нервничал. Южные глаза его, самое примечательное в нём — не зря в своё время в школьном спектакле играл Арбенина, — вспыхивали и тогда из карих становились абсолютно чёрными, как лопнувший, надтреснутый небосвод, сквозь который щурится сам космос. Горбачёва подмывало и самому подойти к окну, но он сдерживал себя. Перекладывал бумаги на столе, вставал, прохаживался спорой побежкою по кабинету — вообще-то, селом он уже не занимается, приbral постепенно к рукам *оргвопросы*, и апартаменты ему уже положены попросторнее и побогаче, но он, в ожидании совсем уж выдающихся, переезжать в *промежуточные* не торопился, — и вновь присаживался к столу, к череде разноцветных и разнокалиберных телефонов.

Нет Старика...

Позвонить ему в машину? Несолидно. Мальчишество. Он и так, приглашая его к себе на дачу, едва не дал по телефону петуха. Хорошо, что Раиса стояла напротив, следя за каждым его словом и даже жестом. Столько лет вместе, а что бы ни делал, всё кажется — только для неё. Больше всего боится упасть, поскользнуться в её глазах. Таких внимательных глаз нет больше ни у кого на свете, они у неё, с юных лет, старше неё самой. Вопреки расхожему мнению, это не разрез глаз у неё азиатский, азиатское в них одно — обездвиженная пристальность взгляда. Где-то читал, что орлица, обучая птенца своего летать, в урочный срок поднимает его в цепких своих лапах высоко в небо и — отпускает. Если полёт птенцу ещё не даётся, она подхватывает его в воздухе и через несколько дней повторяет урок. И так, в случае новой неудачи, до третьего раза. В третий раз вновь отпускает в вышине, но уже не страхует. Не ловит заскорузлыми, за каменевшими когтями неуклюжее и всё ещё беспомощное тельце, на котором пуха ещё больше, чем пера, даже если оно камнем кувыркается вниз...

Интересно, мелькает в голове — чертовщина никогда не выбирает, когда и кому явиться, — когда же она, степная орлица, мать, пристрастнее и внимательнее, до расширения янтарных зрачков, всматривается в своего детёныша?

Когда тот летит или когда тот — падает?

Горбачёв досадливо встяжнул своей крупной и круглой, рано облысевшей головой с покатым ленинским затылком — не до лирики.

Вообще-то вчера Старик тоже не торопился.

* * *

— Хорошо. Приду, — проскрипел вчера после длительной паузы, но ждать его пришлось часа два. Горбачёв несколько раз нетерпеливо выходил к воротам, настораживая охрану, ему хотелось встретить

судьбоносного гостя самолично. Раиса, накинув по-деревенски платок, выскользывала вместе с ним: она и здесь жаждала *вести* его, держать в поле зрения. Чтоб, значит, не упал. Правда, когда лимузин, барственno колыхаясь, притормозил наконец в воротах и из него выпростан был, как средневековый, в железах, рыцарь из каменной своей домовины, Стариk, Раиса, низко, тоже по-деревенски поклонившись и произнеся всё приличествующее гостеприимной хозяйке, тотчас, опережая мужчин, побежала в дом. Как будто сама и намеревалась собирать на стол.

Горбачёв же Громыку в дом не повёл. Взявшись под локоть — у старого даже локоть оказался железным, — сразу свернулся на боковую гравийную дорожку, самую глухую в хвойном массиве, окаймлявшем его цековскую дачу. Ринувшимся было следом охранникам показал пальцами за спиной «козу»: мол, гуляйте себе по холодку на отдалении. Громыкин адъютант, правда, всё же приблизился к старому и что-то спросил, наклоняясь тому прямо к уху.

— Не надо! — громко буркнул министр.

Горбачёв так и не понял, чего же не надо, но бурк возымел действие: прикреплённый отстал, смешавшись с его, Горбачёва, охранниками.

Перебросились парой слов о кончине Генерального.

— Жалко, — посетовал Горбачёв.

— Жалко, — согласился собеседник. Потом, через несколько шагов, добавил:

— Безвредный был человек...

А ещё через несколько скрипучих — на этой «камчатской» тропе всё ещё лежал снег — заключил:

— Не надо было ему и рыпаться. В Генеральные...

Горбачёв промолчал, но фраза эта ему понравилась. Обнадёжила.

— Ну, и как будем жить дальше, Андрей Андреич? — заметно волнуясь, вполголоса спросил Горбачёв. Он понимал, что со Стариком лучше сразу брать быка за рога. Человек определённый — уже одним этим, как верблюд, выделялся в бескостном, хордовом садке мировой дипломатии — тот наверняка сразу же догадался, зачем вкрадчиво зовут его на дачу второго секретаря ЦК.

«Как жить?» в данном случае означало только одно: под кем ходить?

Правда, совсем уж *вторым*, единолично вторым Горбачёву, ни при Андропове, ни при Черненко, стать так и не удалось. Андропов притискивал своего протеже, с которым связывал серьёзные надежды на обновление страны, очень осторожно: не слопали бы до сроков. Все знали, что секретарём ЦК по селу Горбачёв стал при андроповском содействии. Брежнев предпочитал море, Крым, Андропову же, с его больными почками, показаны железные воды Кавминвод; в этих своих лечебных вакациях, предпри-

нимаемых чаще всего без семьи, без жены, он по-стариковски, по-отечески и сошёлся с отчаянно молодым, смелым в речах — это с председателем-то КГБ! — непривычно образованным здешним первым. В отличие от Андропова, Горбачёв повсюду старался появляться с женой, и она здесь, на лечении-отдыхе, при соломенном андроповском вдовстве, умела юно и неназойливо инспирировать такую непринуждённую атмосферу общения, что пресловутая гэбэшность Андропова, и без того вовсе не прирождённая, так и не въевшаяся, словно ржавчина, окончательно слезала, как натоптыш, обнажая, младенческой пятойкой, — живое. Но даже когда Андропов встал у руля ЦК и Политбюро, формально вторым Горбачёва он так и не сделал. Не то не успел (кисловодский нарзан так и не спас его почки), не то знал: *второго* съедают ещё до закуски, в первую очередь.

Черненко же вообще упразднил само понятие, статус второго секретаря. Если обременённый хворобами Генсек оказывался не в состоянии сам вести заседания «головки», он либо без конца откладывал их, либо попеременно поручал «ведение» то тому же Горбачёву, а всё чаще Романову. Григорию Романову, фронтовику и даже инвалиду войны, почти одних лет с самим Черненко. Его, в отличие от Горбачёва и вообще от «молодых», которых по большому счёту в п/б, кроме Горбачёва, и на погляд не видно, Черненко не опасался.

Зато его, Романова, махонького, седого как лунь, но всё ещё по-фронтовому, несмотря на застарелые прорызленности, твёрденского, опасался Горбачёв.

У Романова не только житейского, да и политического, опыта побольше; за ним и парторганизация стоит куда как серьезнее, чем Ставрополь. Ленинград... Сергей Киров... Традиции... Колыбель трёх революций — почему бы не замутить и четвертую?..

Вот и сейчас, когда Горбачёв нетерпеливо подходит-таки к окну, его тревожит даже не эта заминка с Громыко — возможно, она ему вообще только мнимся от напряжения, — а совсем другое. Не прилетел бы раньше срока самолёт из Финляндии.

Соответствующая служба — андроповские люди хорошо осведомлены о предпочтениях своего покойного, но даже оттуда, из-под земли, точнее из-под кремлевской плиты, все еще всемогущего и бессменного шефа — не рекомендовали Григорию Васильевичу возвращаться из командировки рейсовым судном Аэрофлота. Мол, смена караула, обстановка — не в стране, не в стране, тут все под контролем, а в *мире*, нервозная, возможна провокация. Поэтому посылается спецборт из правительенного двестидвадцатого авиаотряда, надо дождаться его и лететь не в Ленинград, а сразу в Москву. На очень важное, решающее заседание.

Романов и сам знал, что оно, заседание, будет решать: у них с Черненко, с живым, уже были чаепития на двоих.

Да вот погода в Москве подкачала: мартовская слякоть, мряка, все небо в сочащихся — не кровью, слава богу, не кровью, что так знакомо и памятно Романову, который и сам походил когда-то в прифронтовом госпитале, где его усердно, словно собственную будущую судьбу, вызывала, выкликала к жизни его юная, с красным, гладью вышитым крестиком во лбу, будущая жена, на белоснежный, в кровавых подгнильях, куколь, — а всего лишь водой и снегом, там-понах. Водой и снегом. Но вылет все же приходится попридержать. Погода, Григорий Васильич, хе-хе, нам пока не подвластна, не подчиняется, чертяка.

Это тем-то, кто и ее уже придерживал за драную полу...

Григорий Васильевич конечно же нервничал, ломая указательный — завтра, возможно, он станет еще указательнее — палец в диске своего переносного телефона. Но Москва монотонно отвечала: кхекхе, погода, не можем вами рисковать, Григорий Васильич...

И прикрепленный, курица, истукан, за его же спиной поддакивал: кхекхе, Григорий Васильич, не можем... Вами рисковать... Истукан, косая сажень в плечах, а подкхекивает совершенно по-стариковски, по-подколодному.

Есть связь проводная, а есть сволочная. Проволочная, — матерился и вслух и про себя Романов. Все они одним миром мазаны.

Одним, московским небом...

Вот чего опасался Горбачев.

Да тут еще слухи, поползшие по Старой площади. О записке, продиктованной якобы за несколько дней до кончины Константина Устиновичем одному из его ближайших помощников, с которым у Горбачева изначально не складывались отношения. Вызванному прямо к одру и проведенному тайными, как казалось и ему, и Черненко, путями. Записка, в которой значилась только фамилия. Одна-единственная. И после нее тоже уже не писарская, не каллиграфическая (у Черненко не почерк, а прописи, благодаря которым, а не только многолетней дружбе с Брежневым, он стал и заведующим Общим отделом, и даже членом Политбюро ЦК), а тоже уже умирающая, коснеющей рукою накорябанная, но все же собственноручная подпись: Черненко. Первое слово «Романов». Второе, уже куриной лапкою — даже не слово, а почти что печать. И даже дата вроде бы прописана, и даже час...

— Звонит Романов! — с перекошенной физиономией вошел секретарь — в ЦК только у заведующих отделами еще могли быть секретарши, у чинов выше исключительно секретари.

— Откуда? — быстро спросил Горбачев.

— Из Хельсинки...

— Скажи, что у меня люди, — уже спокойнее распорядился М.С.

...Противостояние шло с переменным успехом. Но концовка, эндшпиль все же остались за Горбачевым. Его преимуществом являлось то, что он находился в Москве. Формально их весовые категории, секретаря ЦК КПСС и первого секретаря Ленинградского обкома партии, одинаковы, но Горбачев ближе к точкам управления, к тому же его предпочитала молодая, деятельная поросль в самом аппарате Центрального Комитета, связывавшая с ним надежды не только на перемены в стране, но и на собственное продвижение. Черненко становилось все хуже, угасал на глазах. Впадал в старческое и болезненное безразличие. А страной надо управлять, нельзя оставлять без руля и ветрил. И Горбачев, используя аппарат ЦК, зависимость местных партийных боссов от кадровой политики Центра, известную удаленность Романова от котла, в котором каша варится — каждый день из Питера в Первопрестольную не налетаешься, — и просто некую простодушную старомодность тогдашнего Главного Питерца, понемногу перехватывал вожжи к себе. Именно он в день очередных советских выборов оказался у Черненко в больнице, неимоверным усилием врачей поднял со смертного одра обреченного, жалкого, как с того света уже, старика, помог тому перед телевизионными камерами опустить бюллетень «за нерушимый блок» в заранее привезенную в ЦКБ избирательную урну — и дело, по существу, оказалось в шляпе. Это было последнее «прилюдное» появление престарелого, немощного, страдающего уже неизлечимой эмфиземой легких, но покамест еще живого, Генсека перед своей страной. И страна, тогда еще безоглядно верившая телевизору, поняла: по законам жанра тот, кто в столь знаменательную минуту очутился рядом с *нисходящим*, и должен стать преемником. Восходящим.

Рядом очутился молодой, скорбно сияющий, с лучезарными глазами, какие наши дореволюционные писатели называли «два черных солнца».

Черные солнца...

Так урна оказалась похоронной для одного и поистине избирательной для другого.

Оставалось только легитимизировать... что? — выбор народа.

Соответствующие службы запустили глупость на счет царских, эрмитажных сервисов, которыми якобы была сервирована свадьба романовской дочери. Оправдываться Романову отсоветовали: зачем, мол, на дурь реагировать? — собака лает, ветер носит, на воротах не виснет.

Повисло: ложь, хоть и на коротких ножках, зато — сороконожна. Сороукоустна. А тогда еще на та-

кие вещи не плевали. Ни сверху, ни снизу. Непривычны были.

Романов уходил в тень, но тень — это еще не не- бытие. Все может развернуться, перевернуться именно на сегодняшнем заседании Политбюро.

* * *

— Как жить будем? — повторил вчера Горбачев, развернувшись и глядя Громыке прямо в лицо.

«Ну и глазищи у этого южанина!» — подумал Старики. Насупился и тоже остановился.

— Я буду за, — произнес с задержкой, но отчеливо и раздельно.

Он знал, кто, даже из-под гранитной плиты, стоит за Горбачевым. У них с Андроповым всегда был вооруженный нейтралитет. Вообще-то Громыке ближе покойный Устинов, царь и бог военно-промышленного комплекса, секретарь ЦК, а недолгое время, перед смертью, еще и министр обороны. Можно сказать, войну вместе прошли. Один — в ближнем, прифронтовом тылу, подымая с колен, как падшую от бескорыщи животину — при этом и сам доходя до кровавого поноса, ломая собственный, совсем еще юный, толком еще и не окостеневший хребет, — загубленную перед войной оборонную промышленность. Другой — в тылу самом далеком. В Америке. И тоже в совсем юные еще годы, вымаливая, выскабливая, *выстрадывая* — Второй фронт. Потому и стал он в зрелые лета дипломатом «Нет!», что в годы дальние, *страдные*, так истязательно и самоуничижительно был дипломатом «Да! Да! Да!..».

От слова «дайте».

Теперь вот, на старости лет, отыгрывается на тех же американцах, перед которыми когда-то и ходил на цырлах, и выплясывал польку-бабочку.

Оба входили к Сталину, ходили под Сталиным, как под Сталинградом. Не зная, вернутся ли *оттуда* живьем.

С Устиновым они дружили. Даже натуральные ястребы чаще всего кружат в небе парами. С Андроповым... В свое время он оказался в подчинении у Громыко, послом в Венгрии. В пятьдесят шестом, когда венграм, и не только им, показалось, что Сталин действительно и окончательно *умер*, Андропов, в военном прошлом партизан, повел себя мужественно. В последний момент семью в бронетранспортере под попечительством одного-единственного своего помощника по фамилии *Крючков* отправил в аэропорт и, последним же самолетом, в Москву. А сам до края, до перелома, оставался на посту. За что и был вознагражден: после *событий* его вернули в Москву, в ЦК, уже заведующим Отделом ЦК. У Отдела не было названия «Международный» только потому, что отдел «вёл» страны соцлагеря. Но, по существу, сопер-

ничал с МИДом. И Андропов из подчиненного стал как бы куратором — конечно, не самого Громыко, а, пусть и частично, МИДа. Вылезал из сугубо партийного периметра — связи с Рабочими и Коммунистическими партиями в мире — в периметр большой, мировой дипломатии. Вежливо, через громыкинских замов, а еще чаще через Первого-Генерального, но не то что настырно, а в направлении, которое Громыко, скале и каменотесу в одном лице, казалось... ну, не-своевременным. Был Юлиан-Отступник, а этот — Отступник-Юрий?.. «Конвергенция»... Для Громыко это слово ругательное, а вот для Андропова — как знать?

Похоже, Венгрия, даже подавленная с его же, Андропова, активным участием, местами все равно прорастала в нем.

МИД и «соседи» всегда жили не совсем по-соседски. Карьерные дипломаты, как правило, недолюбливают «гэбэшников», что порою рядятся в их же «неприкосновенные» фраки, используя дипслужбу как крышу для своих специфических занятий. С другими председателями, вылуплявшимися из комсомола, Громыко был потверже: на чужой кара- вай рот не разевай. Каждый сверчок знай свой шесток... С этим же, выходцем из партии, из ее верхушки, иное. Не то что сложнее, а непривычнее. Не МИД, как обычно, оказался либеральнее, а КГБ. Это при Андропове, как когда-то и при Ленине, диссидентов вновь стали отправлять не на Восток, в Сибирь, а на Запад. Да и само это слово, новое определение для если и не «врагов» народа, то его противников, вошло в оборот и даже в обиход из бог знает каких средневековых недр, времен церковно-религиозных, экуменически-геологических раздражев именно при Андропове, едва ли не им самим и запущенное.

Это при нем Громыко стал казаться святым Папы Римского, когда всегда было наоборот.

А когда Андропов стал-таки Генеральным, он, с одной стороны, начал примитивно закручивать гайки, что любому либералу кажется кратчайшим путем к прогрессу, а с другой... В один из дней самый умный и самый близкий из помощников министра занес ему в кабинет свежий, только что вышедший из печати журнал «Коммунист», который МИД, вообще-то, не получал, незачем, и подсунул его Громыке прямо под крупный белорусский нос:

— *Почитайте, Андрей Андреевич, срочно почитайте...*

Речь шла о длинной теоретической статье Андропова, посвященной столетию выхода Маркса «Капитала». Громыко, разумеется, не стал отодвигать текущие дела и тотчас хвататься за чтение. Но синенький, непрезентабельный журнал все же сунул в портфель и вечером, дома, статью прочитал. И даже не

один раз... Так-так, стало быть, капитализм и социализм вовсе не антагонисты, ими движет, оказывается, одно и то же — *капитал*. И социализму, как школьну, надо еще учиться и учиться у старшего оборотистого брата...

В общем, будь на то Громыкина воля, он бы выбрал не Горбачева. Тут они с покойным Андроповым расходятся не столько во мнениях, сколько — в воззрениях...

— А вас бы я, Андрей Андреевич, рекомендовал бы затем на пост Председателя Президиума Верховного Совета, — в последний миг зависающей паузы произнёс Горбачев и добавил уже другим, не официозным, а почти заигрывающим тоном:

— Прези-ден-та...

Знал, с кем имел дело: *президент* для дипломата всегда благозвучнее, чем даже Генеральный...

Громыко сверху, исподлобья, взглянул на невысокого, компактного Горбачева и криво усмехнулся:

— А что, как министр я вас уже не устраиваю? Засиделся?

— Ну что вы? — заторопился Горбачев. — Что вы... Можем и совместить...

Но Громыко уже почти не слушал: кто же не знает, что президентство в СССР еще со времен Калинина и Подгорного декоративная штука. Нет, он все еще думал. Да, ставку на месте Андропова делал бы на других. На тех, кто еще способен *противостоять*. А с иной стороны, кто же его знает: может, это противостояние и впрямь изживает себя? Вон и Брежнев, при всей его простодырости, на склоне лет, с подачи того же Андропова и при его же, Громыко, фундаментальной поддержке, вопреки многим и многим, а все же взял и обозначил курс на разрядку... Громыко привык служить, по-солдатски, идеалам. Но они, похоже, терпят крах. И в первую очередь потому что выработалось, израсходовалось поколение, его поколение, способное не только служить им, но и жить ими. Народ израсходовался. Идеалы сокрушены инстинктами. Или исчерпалась *энергия заблуждения*? Приходит их, инстинктов, время? Либо, как там, у Адропова, — интересов, а в конечном счете — все того же *капитала*? Слишком короток век человеческий для идеалов, хотя у его поколения он был еще короче, чем у нынешнего, это только некоторые, mastodonты, наподобие его самого, то ли засиделись, то ли зажились...

Может, действительно пора соединять человеческие берега под напором тотальных, глобальных, а не частных классовых и прочих нужд?

А не проглотят ли?

Громыко раздумчиво, почти отрицательно — Горбачев сразу напрягся, напружился, подобрался, как стайер, — покачал головой. Но вслух сказал:

— Хорошо. Я выступлю. Предложу.

— Андрей Андре-и-и-ч! Михаил Серге-и-и-ч! — донесся с парадного входа распевный голосок Раисы Максимовны. — Я вас заждалась... Ужин остывает, а водка теплеет...

Тоненькая, изящная, на гейшу похожая, только теперь уже с игривой, набок, по-южному, повязанной косынко на голове, она гибко стояла в широко распахнутом дверном проеме, что пылал электричеством, как будто в доме за ее спиной бурлил веселый пожар.

«А на что тогда холодильник?» — хмыкнул Громыко, но сказать ничего не успел: Горбачев приобнял его за плечи и направил в сторону дома:

— Хоть вы, Андрей Андреич, и говорите, что дипломат роет себе могилу ложкой и вилкой, а нам действительно пора к столу. Соловья баснями не кормят, тем более, я знаю: на первое — любимая ваша уха, а к ней ни ножа, ни вилки не надо...

«Еще неизвестно, кто тут соловей», — опять хмыкнул про себя Громыко, и они зашагали к особняку.

* * *

Все же Громыко приехал вовремя. Тютелька в тюльку. Политбюро в сборе. В зал ведут два входа — один из коридора, другой прямо из кабинета Генерального. Имеется, правда, третий ход, *экстренный*, но его почти не открывают, и он незаметен даже изнутри зала. За *экстренной* дверью, в продолговатой, без окон, комнате иногда накрывают продолговатый, карельской березы, стол. Сегодня он тоже накрыт: поминки. За упокой, — ну, и за чье-то, новое, здравие... Горбачев, как ведущий заседание, мог бы войти ходом персональным, но вошел вместе со всеми, через коридор. Правда, два, по разные стороны двери, охранника в штатском именно при его приближении заметно вытянулись. Все, и охранники в первую очередь, в подчеркнуто черном. К Горбачеву в последний момент подсеменил помощник и что-то спросил на ухо. Горбачев негромко, но твердо ответил:

— Так же, как у Юрия Владимировича, только на градус ниже...

Знающие поняли: речь о некрологе. Знающие тут все, включая охрану.

Негромко расселись. М.С. сделал короткое траурное вступление: завтра похороны...

— Кто просит слова? — обвел взглядом присутствующих.

Молчание.

Медленно, почти со скрипом, поднимается Громыко. Старше него здесь уже нет никого.

— Разделяю нашу общую скорбь. И нас, здесь присутствующих, и нашего народа...

Пауза.

— ...Вместе с тем считаю, что хватит нам смешить людей и мир гонками на лафетах. Надо реко-

мендовать Центральному Комитету, а затем и съезду молодого, современного, авторитетного, широко мыслящего и при этом прочно стоящего на марксистско-ленинских позициях, — тут голос его заметно окреп, а глаза строго, строже горбачевских, прошлись по застывшим скорбным лицам, — товарища. Лидера. Им, я думаю, по праву должен стать Михаил Сергеевич Горбачев. Ему и поручить вести траурную церемонию...

Все встали. Горбачев поднялся тоже. Кто-то, не Громуко, первым сдержанно хлопнул в ладоши. Его приглушённо поддержали.

Уходим. Уходим. Уходим...

Вообще-то, этой главой хотел закончить все свое повествование. Но обстоятельства складываются так, что я решил поторопиться. Неизменная подруга, спутница-разлучница человечества с косой — той, что не до пят, а аж до самых корешков, — так раззуделась костлявым своим плечом, что, того и гляди, не успеешь. Срежет ненароком, как и не бывало.

А мне хочется успеть написать и о них. О невозвратно потерянных своих. Число попаданий — или пропаданий — в последнее время так участилось, как то, наверное, и бывает по мере приближения к линии фронта. А она, увы, не за горами: мне и самому идет шестьдесят девятый год... А среди потерянных, к вящему несчастию, есть и такие, о ком, кроме меня, и вспомнить-то практически некому.

Впрочем, та, что с косой, как я только что понял, способна принимать и совсем нежданные обличия.

Под утро того, совсем недавнего дня, когда мой, по большому счету *предпоследний*, друг своими ногами пошёл на в общем-то почти пустяковую по нынешним временам операцию, мне приснился очень тягостный сон, после которого до самой ночи, а если точнее — до следующего утра что-то угрюмо давило на сердце. Как будто и вправду придавили камнем что-то еще живое.

А сон такой.

Сидим мы, несколько близких мне людей. Не посиделки, не застолье. Бог знает зачем собрались вместе, и каждый, я, во всяком случае, точно, не в своей тарелке. Какое-то тягостное и молчаливое сидение, причем на голой деревянной лавке и за голым и ободранно пустым столом. Все вроде действительно знакомые или смутно знакомые и только один — совершенно, неприятно чужой. Он вовсе не старикашка. Средних лет, даже помоложе всех нас. И вовсе не костляв — поджар. И даже элегантен, если бы не одно «но».

Да, бледен, но не так уж бледнее каждого из нас, сидевших вокруг него. Но волосы... Невероятно ухоженная прическа — такие чубы когда-то звались «наплоенными». Выложена на узкой голове и над в меру высоким лбом, как искусно и бережно выкладывают, выдавливают крем на торте. И при этом белее любого крема, белее любой бумаги, даже «верже». И совершенно безжизненные. Если дотронуться, седина захрустит, как бумага. Такое ощущение, что они, волосы, — из папье-маше. Скорее всего абсолютно полого внутри. Волосы и притягивают взгляд, и вместе с тем доставляют ему, взгляду, прямо-таки физиологический дискомфорт. Да и все мы не в своей тарелке именно потому, что между нами затесался этот тип. Этот безмолвный, отрешенный, равнодушный ко всему и ко всем нам чужак в светло-сером, ладно, по фигуре скроенном цивильном костюме сегодняшнего клерка средней руки. Не помню, к кому же из нас конкретно он ближе всего и сидел. Может быть, и к Володе — тому, кому и предстояла злосчастная операция...

Идучи в операционную, друг мой, к слову, даже позвонил мне. Обратился с просьбой, связанной с его детьми и женой. Я, зная, что двумя неделями раньше ему уже делали здесь же точно такую же операцию — стентирование — на другом сосуде и что она тогда прошла вполне рутинно и благополучно, в спешке — собираясь на работу — и непростительно буднично пообещал, что просьбу его постараюсь выполнить. И бросил на прощание:

— Ладно, с Богом...

Совершенно не распознав сна.

Знал бы, что с этим самым Богом он встретится уже сегодня, ровно в шестнадцать часов.

— Ты не звони мне, — тихо сказал на прощание мой друг. — Я же буду в реанимации и трубку взять не смогу... Потом сам позвоню.

— Хорошо, — ответил я.

Но именно в шестнадцать я ему все-таки позвонил.

Он действительно не взял трубку.

Перезвонил ему поздно вечером. Опять длинные гудки. Может, спит? Или отключил телефон, чтобы не беспокоить соседей по палате? А может, все еще в реанимации?

Позвонил ему и в восемь утра. То же самое. Может, обход?

А на сердце что-то давило. Физиологический дискомфорт так и не проходил.

В десять утра мне позвонила его жена, теперь уже — вдова.

Камень с сердца сразу отвалили. Я сразу его, встрепенувшееся, почувствовал. Голое, ободранное, оно прямо-таки разрослось, забилось окровавленными крыльями в тесноте моей грудной клетки.

Так вон кто затесался между нами!

«Смерть неожиданна, потому что многообразна», — писал когда-то Марсель Пруст.

«И неузнаваема, потому что многооблична», — добавил бы я сейчас...

Мои друзья и мои же потери...

* * *

Началось это давным-давно, еще в раннем детстве.

Родных бабок я в живых уже не застал. В живых застал — самым кончиком сознания — только родную прабабку. Но жила она не с нами — в другом селении, видел ее изредка, да и то уже парализованную, за занавесочкой, потому и смотреть на нее боялся, избегал. Да никто и не пояснял мне, малому, лет пяти, что эта во всем моем тогдашнем и тамошнем окружении — единственная родная. Не считая, конечно, матери — да я в том, чужом, селении и был, как правило, без матушки. Никому из взрослых и в голову не приходило что-либо мне, путавшемуся в ногах, объяснить. И время к тому же суровое, послевоенное, сиротское. Я бы сказал — безродное: по количеству вдов, сирот и просто брошенных и позабытых. Как мертвых, так и живых. Лишь много-много позже, не просто взрослым, а почти пожилым уже человеком, я вдруг однажды, на досуге, дотумкал: а ведь та, изредка, краешком глаза и сознания, почти что в младенчестве виденная мною «лежащая» — и потому еще, наверное, словно в игольное ушко пролетая, бесплотная, почти что бестелесная (и цвета синевой нитки) старуха — моя *родная*!

И вздохнул — так плохо я ее в свое время рассмотрел и запомнил...

Двоюродных же бабок несколько. И больше всего меня привечали две из них: бабушка Меланья, что жила в нашей же Николе, только в другом, не овечьем, а садовом, зеленом ее кутке, и бабушка Мария — она-то как раз и проживала в том самом, чужом, пойменном и виноградном, отличающемся от нашего, как различаются, наверное, ад и рай, селе, куда меня привозили иногда отъяться, соков поднабраться, да и просто, чтоб хоть на время от меня отдохнуть.

У бабушки же Марии имелась родственница, по-моему, невестка, Федора, у которой подрастал сынок, мой ровесник. У него было литературное имя: Валёк, что я тоже понял значительно позже, когда прочитал, кажется, «Детей подземелья» Владимира Короленко: так, по-моему, звали там цыганского мальчика. Пан Тыбурций и сын его Валёк...

Мой сверстник тоже похож на цыганенка. Пшел, видимо, в мать. Наши, Рудневы, белотельые, сдобные. Федора же — с узкими «цыганскими» щи-

колотками, со смоляными, вощенными, как будто их для усмирения еще и нефтью смазали, волосами, с огромными, черными же, но при этом очень быстрыми, подвижными глазами, в которых даже белки казались двумя сперва облупленными, но потом еще и испеченными яйцами — столько в них, белках, темных родимых пятнышек. Порывистая, говорливая, легкая в ходу и в работе.

И мальчик тоже легкий, шустрый, чернявенький, его тоже только что как будто бы если и не из печки вынули, то из трубы уж точно. Я подружился с ним. Зимой на каникулах мы вместе барахтались в снегу, катались взапуски на самодельных санях и лыжах, которые дед, бабки Марии муж, колхозный плотник, тоже смастерили нам из гнутых ребер рассохшейся бочки.

А весной приехал — мальчика нету. Вообще нету. Нигде. На белом свете — нету. Умер. Воспаление легких. И снесли его, махонького, невесомого, с длинненьkim и еще не окостеневшим носом, на тот самый косогор, с которого мы и сваливались с ним зимой на санях и лыжах. Я не мог взять в разум — как это: совсем нету? И я его уже никогда-никогда не увижу? Сняли с белого света, как чья-то невидимая,ющая рука снимает с телеграфного провода только что сидевшую там и что-то передававшую нам сверху птицу.

Я онемел от ужаса.

Но главный, совсем уже всеобъемлющий ужас подоспел ко мне к вечеру.

Вечером, узнавши о моем приезде и наскоро управлявшись со скотиной, к моей двоюродной бабушке прибежала Федора. Мы как раз ужинали. Сбросив наспех ватную стеганую фуфайку с подвернутыми и зализанными теленком рукавами, обшлагами, Федора молча прошла к столу и села прямо напротив меня. И, опять же молча, в упор, уставилась на меня. Бабушка налила и подвинула к ней тарелку, подала ложку и хлеб, но Федора сидела как заговоренная. Даже к куску не притронулась. Смотрела и смотрела — на меня.

Я тоже, оторвавшись от еды, взглянул на неё.

Это была совсем другая, чужая тетка.

Выбившиеся из-под полушалка волосы лишились нефтяной своей вощености, сухие, ломкие, перегоревшие. Глаза мало что провалились, дна не достать, но — странно остановившиеся. Горят, не мигая, бездымно и сухо, как горит в печи черный, до самого скелета проспевший степной курай. Я заметил, что и бабушка стала относиться к ней как-то иначе, по-новому, не так, как раньше, не по-свойски, не свысока, без родственного на смешливого задора, а так, как относятся к увечным. Или — к тронутым. Даже меня, защищая от ее воспаленных глаз, отодвинула от невестки. На всякий случай. Пыталась

заговорить с нею на какие-то отвлечённые темы, но та ее не слышала.

Кусок мне в рот не полез.

Мне говорили, что я очень похож на ее Валька. Такой же чернявый и носатенький. Теперь мне, мешкотно застывшему за столом, под висячей керосиновой лампой, не только разом вспомнилось это — чему я раньше не придавал никакого значения — но, кажется, вмиг стал понятен и этот, тронутой, взгляд.

«Почему не ты?» — это, мне кажется, страстно вопрошили и ее глаза, и вся ее фигурка с резко, как у враз высревшего курая, выпнувшимся скелетом.

«Почему не я?»

Она теперь приходила каждый день и подолгу, молча и требовательно глядела на меня. Бабушка Маня, взявшая меня за плечи, потихоньку подталкивая коленом под задницу, уводила от нее в сторонку. Но Федора через какое-то время вновь оказывалась, как зеркало, что в известный час подносят к чужим перегоревшим устам, передо мной. Нитка — за иголкой.

Мне кажется, меня даже увезли в тот раз домой раньше срока.

Той же весною Федору бросил муж.

Жизнь (или смерть) открыла счет, и счет этот не раз предъявлялся лично мне...

С тех, почти незапамятных, лет и закрутилось.

* * *

Смерч смерти бешено вращается вокруг каждого из нас, то, как отдаленная гроза, ходит дальними кругами, то приближаясь к самому горлу. Пытаяешься в панике ухватиться, а только обламываешь, как в полынье, опору под руками. В четырнадцать лет я уже потерял мать, которой и было-то от роду всего сорок пять. С течением времени ускоряется, похоже, не только жизнь, но и *смерч* тоже. Я бы не сказал, что он слеп. Клокочущая воронка его иногда мне кажется очень уж прицельным стволов, крайняя плоть которого тоже расплющилась «розой» от сумасшедшей частоты стрельбы.

Мне доводилось, и не раз, хоронить сразу по два гроба близких мне людей.

Выпадало хоронить десятки и даже сотни. Вовек не забуду, как в Ленинакане перед каждым домом, словно перед пристанью, с уже обрублеными канатами, уже готовыми к отплытию, свежеструганными челнами стояли гробы, гробы, гробы... А в Спитаке, где не было уже не то что ни одного дома, а и ни одной уцелевшей *стенки*, погибших, раздавленных сносили на стадион, потому что только здесь не было руин, камней. Стадион ведь не что иное, как слегка облагороженный пустырь. Ни один стадион мира не знал таких воплей и такого молчания, как спитак-

ский спортивный пустырь в декабре 1988-го. Как поименовать тот матч, что разворачивался на этой скорбной арене на моих глазах и с моим посильным участием?

Нет, не жизни и смерти.

Страха смерти и желания — умереть.

Особенно — когда матери узнавали под простынями и пододеяльниками малых своих.

А самый страшный плач — безмолвие, потому что многих и многих в Спитаке и оплакивать было некому.

Некоторых гробов я не видел.

Мой интернатский дружок, сын библиотекарши и сам под завязку набитый книгами и фантазиями, поступил тем не менее в Орджоникидзевское военное училище и подорвался на учениях. Причем подорвался, закрывая своих же сокурсников — похоже, это был едва ли не первый их выезд «в поле» с боевыми зарядами. За что и был удостоен, посмертно, ордена Красной Звезды.

Гроб конечно же был, но я не знаю, что же положили в него: орден к тому времени еще не подоспел. О Сашиной гибели я узнал задним числом и в первый миг просто осталбенел. Невозможно было представить неживым, а тем более — разнесенным в клочья этого насквозь живого, пульсирующего, прыскающего от избытка какой-то полоумной доброжелательности — по ночам в интернате таскал нам, вечно голодным, в спальню из кухни хлеб, хотя сам к нему потом и не притрагивался и в дежежке участия не принимал — и фантазий книжечек.

И еще невероятнее представить его мать, которую я знал, потому что однажды гостил у них в деревенском доме, махонькую и молчаливую как птичка, которая поет, и то коротко, только при выходе солнца. Одних книги научают говорливости, других замыкают в молчании. Теперь библиотека для неё вообще станет склепом... Есть такие монахини — молчальницы.

Хоронил друзей и даже подруг — кого-то провожали с почетным караулом, со стрельбой и речами, а двое — Тамара Войнова, с которой начинал когда-то в Ставрополе в «Молодом ленинце», и армейский мой дружок Валерка Иванов, — свезены молча, неоплаканными, как безродные и блаженные, за церковные оградки. Тамара погибла при «Норд-Осте», её и опознавать было некому, до меня дозвонились задним числом, я оказался далеко. Вконец обнищавший же в «новые времена», хотя в старые был высо-кооплачиваемым и высоковостребованным химиком-аппаратчиком (есть просто аппаратчики, как правило, бесполезные, а есть весьма толковые и полезные — химики-аппаратчики), попал парализованный после инсульта и отбившийся от семьи, Валерка под занавес приился к какой-то

баптистской секте; она и призрела его по кончине при своей полулегальной молельне где-то в крымском городке с нерусским именем Армянск.

Тамара же лежит на границе Московской и Смоленской областей при большом, настоящем храме — такая запоздалая почесть была воздана проворонившими «Норд-Ост» властями тем, чьи тела остались «невостребованными».

Подождали-подождали, да и развезли — поближе к Господу Богу.

Так что есть среди моих покойных друзей и двое безусловно «божьих людей», одна из которых, боюсь, даже умирала отчаянной атеисткой.

Хоронил и тех, кому и умирать нельзя было, так много долгов оставалось у них на грешной нашей земле. И тех, кто никому на свете не должен — скорее им должны — и кто уже по своему положению непременно должен был выйти в долгожители, так усердно опекала их властная наша кремлевская медицина. Тот же Гена Селезнев — мой друг и редактор по «Комсомольской правде», которого впоследствии не испортили и самые высокие должности в государстве, но которого до сроков свела в могилу то ли все та же кремлевская медицина, то ли просто судьба.

И вот только что похоронил человека, который и так давно уже жил не на земле, а в лучшем случае — на небесах.

Жил не на земле, высоко над нею, а теперь ему продолжать, вечно, глубоко — в ней.

* * *

Спервоначалу увидал его почерк. Несуразно разлапистый и ветвистый. Его буквы как будто сидели на невидимом заборе, расхристанно свесив не то ноги, не то ветви. Так поздней осенью на какой-нибудь южной стенке, сокрытой доселе сперва зеленою мглою, а потом мглою цвета ветреного заката, вдруг прорисовываются, вылезают, как при варикозе, бесстыдно и беспорядочно корявые, ржавые вены.

Мне приходилось преобразовывать его мазню — это даже не курица лапой, а вилами по воде — в четкие и даже в меру духоподъемные тексты.

Я вынужден был не только переделывать, но еще и самолично перепечатывать их на машинке, чтобы снести потом по начальству дальше.

Районная газета всегда испытывала недостаток в «сигналах с мест», а тут письма приходили из самого что ни на есть «спода» и писала их не какая-нибудь неугомонная пенсионерка, учительница или библиотекарша, их писал *тракторист*.

Этот «спод» величался тогда «передним краем», и письма писал, стало быть, *самый крайний*.

Тракторист — может, потому и буквы его вылезали как жалкие, заморозками траченные всходы.

Мне надлежало придать им соответствие моменту (что не помешало текущей тогда *семилетке* закончиться очередным провалом) — так его дикий, *вьющийся*, действительно подзаборный виноград моими скромными стараниями превращался в патоку.

Но вот что странно. Малый писал, *сигнализировал* так, как будто точно знал, что нужно моему немудреному начальству.

Взмёт зяби.

Уборка урожая — в том числе, без шуток, винограда, поскольку обретался *крайний* в нашей виноградно-известковой Праскове: это тот случай, когда «край» и «рай» почти рифмуются.

Зарисовка об ударнике коммунистического труда — в те времена любая работа величалась *трудом*, а любой труд подразумевался коммунистическим, хотя за него, в отличие от нынешнего, капиталистического, еще платили деньги.

Тракторист, подлец, так и озаглавливал свое письмо: «Заметка», «Зарисовка»...

Не просто *крайний*, а еще и продвинутый!

Топорные же произведения усиливались подписью: «Владимир Фролов, тракторист».

Тут все не говорило, а вещало: и Владимир, и Фролов, и, особенно, «тракторист».

Самому мне едва исполнилось семнадцать. Я мечтал о «большой журналистской карьере» — по моему, именно тогда вышел герасимовский фильм «Журналист», в котором все восхищались железобетонной провинциалкой Теличиной, а я — исключительно главным героем, а конкретнее тем, как он сумел из заурядных спецкоров сразу перескочить аж в Париж: лишь много позже, уже сам отправляя письма или не совсем, свойскую, или, чаще, «соседскую», щелкоперую братию по Нью-Йоркам-Парижам, я соображу, что это было совершенно невозможно и даже немыслимо — и больше всего не любил протирать штаны в редакции. В том числе и за обрубками, наподобие трактористовых, которые мне приходилось в меру собственного, прямо скажем, небогатого тогдашнего разумения подстругивать и подслюнявливать. Поэтому при первом же удобном случае старался выбираться куда-нибудь «в район» — тем более что уже пописывал и в краевую молодежную газету (где над моими заскорузлыми «заметками» тоже, наверное, корячился какой-нибудь тамошний, теперь уже краевой, сидячий карьерист) — именно с краевой молодежкой по младости лет и связывал надежды на «выезд», которые мне, увы, так и не удалось осуществить в своей жизни; выезд теперь остался только один, и то вылет, теперь уже на самые высокие и самые иностранные «верхы». Добирался чаще всего на попутках, иногда же меня забрасывали «на места» либо на редакционном «газике», либо на мотоцикле, который тоже имелся в

распоряжении районки, но приписан почему-то не к сельскому отделу, по которому числился и я, а к промышленному. К тому времени я уже сдал в военкомате экзамен на мотоциклиста, но «промышленник», одесит Леша Никифоров, чья фамилия была почти что как «Фролов», но внешность ей совершен-но не соответствовала, тщательно оберегал свой «Иж» от моих поползновений.

Так в очередной раз оказавшись в пригородной нашей Прасковеи, я попросил секретаря парткома совхоза — в более серьезные кабинеты райончики моего масштаба обычно не допускались — познакомить меня с «трактористом Фроловым».

Оказывается, его тут знали как местную достопримечательность.

— О, — улыбнулся парторг, — мы с тобой как раз едем в четвертое отделение, в Катасон. Там его и уви-дишь.

В Катасоне резали виноград: парторг знал, куда возить районных публицистов ленинской школы.

Под виноградными кустами, вытянувшимися по салмаку длинными шпалерами, сидели на корточках, как будто не резали, а доили, молоденькие женщины в косынках, повязанных сзади наподобие нынешних «бандан», но с оголенными, загорелыми и вполне зрелыми полными плечами, сами уже подлежащие немедленной срезке.

Парторг нарочито бодро здоровался с ними, они отвечали ему насмешливыми взглядами, обращенными, правда, не столько на партбосса, сколько на меня, юного, тощего и еще способного, в отличие от обычновенной жерди, вишнёво краснеть.

В междуурядьях сновал игрушечный тракторишко с нацепленной спереди железной тележкой, похожий на крепко беременную козявку. Женщины весело опрокидывали, выпрастивали в телегу ведра с виноградом и кричали кому-то, невидимому за спинкой сиденья:

— Запиши!

Парторг махнул рукой, и тракторишко, вихляя, попятился задом к нам. Газанул, тормознул, и с его седушки спрыгнул такой же игрушечный, как и трактор, человек. Маленький, тщедушный, но весь очень складненький и соразмерный, в том числе и своему облезлому насекомому и тесным этим, заляпанным сладкими виноградными кляксами, как межстрочки тетрадки в линейку, междуурядям: в садах, рослых и буйных, тролли, наверное, полномерны, а вот в огородах и виноградниках, видимо, такие вот. Мини. Складненькие, тощенькие, ласково обструганные со всех сторон.

Есть солдаты семилетки и даже солдатки, роскошные, обоюдовыпуклые, почти брюлловские (такие и в райском саду вкусят запретного, греховного плода сперва с самого Адама и только потом с рай-

ского дерева). А есть и такие вот — солдатики. Не оловянные, правда, а скорее деревянные. Фанерные. Даже не рубанком-фуганком сработанные, а лобзиком выпиленные.

— Здравствуйте, — виновато протянул замурзанную и, наверное, сладкую от засохшей виноградной крови руку.

Ладонь тоже маленькая, по хозяину скрупулезно выточенная — ты как будто бы поймал не саму птичку, а только ее трепещущий хвостик.

Позже я узнаю, почему он протягивал руку так, словно просил — не то подаяния, не то прощения. Оказывается, несколькими днями раньше ему было велено отвезти в Георгиевск, на базар, совхозные помидоры и трёх торговок, тоже, наверное, брюлловских, а то и рубенсовских статей. От Прасковеи до Георгиевска километров сорок, представляю, сколько же шкандыбали они до места назначения. Но — не доползли. На каком-то косогоре, возле моста через речку Куму, на одном из передних колес (лапок) у гужевого насекомого навернулась цапфа — взял свое, видимо, спаренный вес торговок и помидоров, — и тракторишко клюнул с размаху носом. Помидоры покатились в Куму, бабы же — кубарем съехали на помидорах. Но до речки, слава богу, не добрались. Не достигли, разметало по косогору.

Юбки у баб заворотились аж до самых макушек, обнажив такие ядреные, многопудовые, хоть и цвета фисташкового сельсоветских рейтузов, двудольные тыквы, что мимо проезжающая шоферня мало что истошно засигналила, но еще и из кабинок поспешно вываливаться стала.

Бабы, приходя в себя, может, и полежали бы еще, как призовые особи на Всесоюзной выставке сельхоз достижений, на всеобщем обозрении, да Володя, сам еще белый как полотно, уже заботливо обходил их, временно обездвиженных, по одной, старательно обдёргивая на каждой как ее наружное, верхнее, так и ее исподнее.

— Побить меня хотели, но одна промахнулась, а другие уже и не стали, — рассказывал он мне, годы и годы спустя, печально улыбаясь.

Само собой: попробуй комара на стенке кулаком прихлопнуть — наверняка промажешь.

Белый как полотно — это не со страха за самого себя. Клянусь честью: этот самоходный человечек почему-то никогда и никого не боялся. Таких фаталистов, как он, я в жизни больше никогда не встречал.

Я тоже пожал совершенно нетрудовую пясть странного тракториста и в тот же миг понял: этого надо выручать.

Выдергивать из семилетки.

Неровён час, растает. Такая кроха, щепоть полу-прозрачной материи в таком не соответствующем ей горниле.

Путь из трактористов в районные стрекулисты, при моем посредничестве, оказался не таким долгим и трудным, потому как вскоре выяснилось, что Володя раньше несколько месяцев уже работал у себя на родине, на Тамбовщине, в Инжавинской районке. Отсюда и несколько подозрительная для тракториста осведомленность в жанрах: «заметка» и т.д. и даже характерные для газетчиков знаки абзаца на выданных из школьной тетрадки листках. Профессиональных журналистов в районках тогда практически не было. Я застал времена, когда в районных газетах сплошь и рядом работали вчерашние десятиклассники, а вчерашние десятиклассницы совершенно свободно выскакивали замуж аж за редакторов районок, вчерашних фронтовиков.

Редакторы пятидесятых—шестидесятых, во всяком случае в глубинке, были смелее своих предшественников аж на целую войну, а десятиклассницы всех времен — это особенная разновидность человечества, смелее них только сама Ева.

Еще и в силу этого феноменального соития районные газеты моей юности писали не о жизни, которая была, а о жизни, которой и быть не могло.

Так она, если судить по районкам, да и не только по ним, была прекрасна.

По-над жизнью.

Как и сегодня.

Только сегодня такое *письмо* — особо азартной, а не только старательной *гладью* вышивает телевидение, поскольку глаз вообще доверчивее ума, — жестко, как подстрочником, продиктовано деньгами. Тогда же оно, помимо прочего, выливалось, как выливают страх, запоздальными слезами прошедшей войны.

Ставшими уже почти что слезами счастья.

* * *

Я не пишу его жизнеописание. Я просто пытаюсь сказать, что такие люди по-хорошему умирать вообще не должны бы.

Хотя бы раньше таких, как я.

И тому есть несколько действительно веских резонов.

Этот человек никому не отказал ни в единой просьбе. Он вообще был неспособен отказывать и отказываться.

Через комнатку в московской «малосемейке», которую он когда-то с великими трудами заполучил, прошли его и мои (это практически одно и то же) друзья и родственники, которым как-то надо было зацепиться в Первой столице. И вовсе не потому, что я, будучи некогда в серьезных чинах, помог ему с этой «жилплощадью», на которой и жить-то могло только такое эфемерное существо, соразмерное комнатке, как он сам. Жили годами! — он приводил сю-

да людей точно так, как другие из жалости приводят домой бездомных собак или кошек: их почему-то вообще жалеют больше, чем собственно людей.

Он безропотно женился на чужих женах — по просьбе их первоначальных и вполне законных мужей. Причем исключительно по любви — к человечеству, поскольку первоначальным мужьям и их семьям, потому как они беженцы из наших ныне со-предельных стран, а некогда просто советских провинций, дабы зацепиться-таки хоть где-то в России, надо было кому-то из супругов сперва «прописаться» в каком-либо из ее уголков. А какая же прописка без «расписки»? Вот и оседали они, наши с ним общие (чаще, правда, все-таки переданные ему мною) друзья, направленные некогда нашей общей тогдашней властью в школы или больницы, а то и просто на отдаленные стройки коммунизма (в СССР, в отличие от других империй, коммунизм почему-то на национальных окраинах начинался раньше, чем в метрополии), а теперь с треском изгнанные окраинными титульными нациями вон, не где-нибудь, а прямиком в Москву.

Потому что такой чудак, способный абсолютно — подчеркиваю! — бескорыстно расписаться, чтобы прописать, был у нас на былых имперских просторах один-единственный и «проживал», как проживает огонек в лампадке, в Москве.

Никакими услугами чужих жён он не пользовался, да и они и в самом деле у него, на его лампадковой жилплощади, только «проживали», а жили, плотно и непосредственно, со своими мужьями. Как правило, на съемных квартирах. Будучи, правда, законно разведенными и состоящими в подзаконном браке с Володей. Некоторые из разведенных мужей на годы и годы забывали благоверных на чужих квадратных сантиметрах. Именно так в свое время вызоволили мы из Абхазии нашего общего друга Колю Кошелева, который, будучи изначально очень взысканным — и абхазами, и грузинами, и конечно же русскими, — детским сухумским врачом, после, в годы грузино-абхазской войны, лечил по старинке, по-свойски и побеждающих, и побеждаемых, за что, когда победители-таки окончательно определились, и поплатился жестоко.

Вызоволить-то вызоволили, да только годы спустя поехал все-таки Коля наш в обратный путь, к месту своего первоначального, после Второго Московского меда, медицинского распределения.

В глиняном, глиною же запечатанном кувшинчике, но не вином даже, а — хладным пеплом.

Этот хоттабычевский кувшинчик и есть теперь его единственное персональное, постоянное жилье. Куда, помыкавшись годы и годы, так и переселился он в одночасье со съемной — все-таки съемной! — московской квартиры.

Москва почти по-матерински принимает абитуриентов, но к выпускникам своим строга как мачеха.

А несколько лет назад забрела в малосемейку — если пересчитать всех, прошедших через нее за десятки лет, то семейка-то как раз получится ого-го! — нищенка. С младенцем на руках. Русская. Бывшая детдомовка. Не знаю, что уж тут сыграло решающую роль: то, что русская, молодая, что детдомовка, — Володе тоже памятно его тамбовское детдомовское прошлое, — или нищенка оказалась столь талантлива в просьбах своих, но из малосемейки она уже не исчезла. Задержалась, обернувшись сперва законной женой, а теперь вот уже и законной вдовой.

Слова нашла!

Правда, сейчас мне кажется, что самой единственной оказалась просьба, что в словах и не нуждалась. Та, которую вычитал, выглядел безотказный малосемейный хозяин в младенческих полуголодных глазах.

Нищенка-то русская, а малышка оказалась при ближайшем рассмотрении русской лишь наполовину: попутный — беспутный отец, как выяснилось позже, принадлежал к узбекской нации.

Может, и глаза потому бессловесные, но такие, как у Магдалины, безотказно горячие?

Нищенка обернулась женою, крохотная безотцовщина — законной, «усыновленной» дочерью.

А до того, к слову сказать, ни та, ни другая российского гражданства тоже не имели. И вообще никакого.

Не только мать, но и узбечка получили фамилию — *Фролова*. Да тут неожиданно народилась и еще одна, теперь уже натуральная Фролова, белобрысая и ясноглазая — ее как будто бы и не из нищенки вынули, выпростали, а аки русскую душу из самого бывшего малосемейного.

Скажите, да разве мог Господь после этого забрать, «забрить» его? А он и забрал и забрил-таки, едва младшая пошла в первый класс. (Это при том, что отцу стукнуло семьдесят.) Не потому ли и забрал? — чтоб перед глазами был.

Забрал, хотя у них — с Господом — очень личные отношения.

Более набожного человека, чем Володя, я в своей жизни не знал.

Как и более спорящего со Всевышним.

* * *

Воцерковлен он оказался с малолетства. Одна из его тёток вообще еще в девичестве ушла в монастырь и прожила там до глубокой старости. Мать, которую я тоже знал, также была весьма богобоязненна. Худенькая, дробненькая — есть целые, цельные люди, а есть и *дроби* от них, — почти прозрачная, в беленьком ситчике, домиком повязанном на голове, она напо-

минала мне и мою собственную мать. Напоминала, хотя матушка моя при общей своей невеликости все же была сильной, резвой и даже резкой — в повседневных своих трудах. Как бывают рабочими пчелы, а вот небесными, воздушными — мотыльки. Моя была бабой, а Володина — бабочкой. И все равно я смотрел на нее и видел матушку собственную. Может, потому, что именно такой она и должна была стать в старости: Володиной матери, когда я с ней познакомился, было уже за семьдесят, моя же умерла в сорок пять, старухой я ее и не видел. Но скорее по другой причине. Я-то знал, хоть и был еще мальчиком, что это руки-ноги у мамы резкие и резвые, а душа-то у неё всё равно робкая, застенчивая, пугливая, на что в роду нашем есть свои стародавние причины.

Я смотрел на Володину матушку, робко улавливавшую за столом малейшие дуновения нашего с ним разговора, и видел — родную душу собственной матери. Точно так, как из Володи, доселе несокрушимо бездетного — потому, что жены были хоть и законными, но чужими, — на старости лет нежданно-негаданно вылупилась, выпорхнула вдруг, как его же младенческая душа, девочка-свечечка (чертами очень похожая на его мать), так и для меня в его матери увиделась, слюянными крыльышками дрогнула не сама моя мать, а ожившая вдруг ее душа.

В принципе нимб стоит над каждым из нас, вне степени святости или святотатства. Но не каждому дано его увидать. Я же в данном случае увидел — робко мерцающий издалека нимб моей матери в совершенно чужой и не похожей на нее старушке.

Володю смаличку ввели в церковь. (Меня всегда восхищало, что кошке, например, в церковь нельзя, а вот ослисти, даже если он уже и не везет на себе божественного младенца, — всегда пожалуйста.) Отца он не знал: первый, законный, муж матери погиб на фронте, а прижила она его вдовой от другого, случайного мужчины, по легенде даже поволжского немца по фамилии Инструменталь. (Добыть комнатёнку мне удалось, самовольно приписав Володю к героическому фронтовику, который на самом деле погиб в сорок первом, не успев ничего, никого посерьезнее в юной своей супружнице.) Немец ушел, не дождавшись плода, причем ушел к другой вдове, у которой в положенные сроки тоже родилось дитя — теперь девочка — видимо, инструмент оказался действительно безотказный и в тот, сорок третий-четвертый, год более чем востребованный.

Инструменталь, думаю, остался жив и наслаждался производителем и потому, что немцев, даже поволжских, на фронт старались не брать, и еще главнее — потому как был, говорят, непревзойденный бухгалтер. В лихолетья бухгалтеры вообще самая бронированная нация: чем дешевле деньги, тем в большей цене кудесники дебета-кредита.

Еще и в силу этой брошенности семьи, катастрофически неполная, настоящая, не бюрократическая *малосемейка*, прильнула к Богу: нет отца с малой, нашли с прописной. Тётя же, надо сказать, ушла в монастырь ещё в тридцатые, в самое что ни на есть атеистическое время.

Попав в детский дом, оловянный крестик Володя ни на звездочку, ни на красный галстук, ни даже на комсомольский значок не поменял и от церкви так и не отказался до конца своих дней. Его духовником все эти годы оставался местный батюшка: в девяносто он отошел от дел и вскоре почил в Бозе при Троице-Сергиевой лавре. Это он прочил когда-то Володе архиерейское будущее. И он же, когда юноша все же пошёл по светско-советскому пути (на экономический факультет МГУ, который закончил в свое время с красным дипломом) напророчил, что подопечный его еще понесет за сие кару.

Возможно, помня сие, Володя ни дня и не работал экономистом и к учёным издевательствам над страной в девяностых и присно никакого отношения не имел. Работал в то время дворником у Любимова на Таганке, у Хренникова в Доме композиторов.

Дворник с красным дипломом экономиста во времена, когда «экономная» стала просто политэкономией! — да таких надо в Красную книгу, а не на погост.

* * *

В последние десятилетия мы с ним жили довольно тесно — я ведь тоже стал почти что дворником — я помогал ему, он помогал мне. И я доподлинно знаю, что он свято, до изнурения держал посты; ночуя у меня на даче, ходил на все службы (включая заутреню) в старинную, семнадцатого века, церковь, ныне подворье Новодевичьего, что лежит километрах в трёх от меня. Исповедовался, приносил просфоры.

Порою оказывался на службах один: деревеньки окрест вымерли, а дачники приобщаются либо по праздникам, в нетвёрдой трезвости, либо пригоняя — в лучшие, чем сейчас, времена — новообретенные машины: «освятить».

Читал у меня священные тексты, чаще вслух. Отпевал, по моей просьбе, тех, кого отпевать было некому, а точнее — не на что.

Да, чуть не забыл: дворник дворником, но он умудрился подворничать и при издательском отделе Московской патриархии во времена, когда отделом этим командовал ныне покойный митрополит Питирим.

Удивительно, но глубокая и даже истовая религиозность в нем сочеталась и с элементами богоchorечества. Что, впрочем, присуще отдельным подвижникам веры, в том числе и выдающимся, особенно сре-

ди русских людей, склонных не только к самокопанию, но и к копанию в Самом. И даже — под Самого.

Спорил он, правда, чаще не с текстами, а с практикой. Проще говоря, с действительностью. Если она движется по высшему Промыслу, то почему же в ней столько жестокости?

И отваживался упрекать в этом Господа Бога и даже ставить под сомнение его существование. (А по-моему, к Последнему неприложимо и само это понятие — *существования*; ничего сущего, объективного тут и быть не может!)

Я слабо возражал ему: мол, божественное вовсе не равнозначно нравственному. Уже хотя бы потому, что не поддается никаким человеческим измерениям, иначе было бы не божественным, а человечным. Божественное не обязано подлаживаться к нам, идет своими незаповеданными ходами и очень часто — вразрез с нашими представлениями о добре и зле. Это мы — сущие, а Оно по существу (!) — пустота, холодная, отстранённая, отрешенно делающая грозное свое дело, лишь иногда, случайно, пересекающаяся или попадающая в резонанс с нашими нравственными категориями.

К слугам и, особенно, к служкам божиим относился куда снисходительнее, чем к самому Вседержителю. На мои кое-какие инвективы, сиюминутные, на их счёт отвечал старинными словами Иисуса:

— Судите их не по их делам, а по их словам...
Слуг защищал — Сыном.

Ну да, на слова-то мы все горазды, даже не совсем слуги.

Засыпали далеко за полночь. Наутро, спозаранок, он бежал мелкой мышиной побежкою три километра в церковь — видимо, отмаливать вчерашнее, а я дрых почти что праведником.

Междуд прочим, та самая монахиня в их роду, о которой я уже упоминал, предчувствуя кончину, ушла из монастыря и умирала в их же деревенской избе. А умирая, возвестила сгрудившимся вокруг односельчанам — как же, почти своя святая преставляется! — что Бога — нету!

Так и прохрипела.

Односельчане переглянулись и молча, но дружно решили: бабка спятила.

И похоронить-таки похоронили за церковной оградой.

Может, и ересь тоже у них в роду?

* * *

Впрочем, уходя на операцию, Володя захватил с собой иконку. А уходя уже «на стол», позвонил, как я уже упоминал, мне — житейская его просьба была связана с малолетними детками.

С этой же иконкою мы его и положили. В гроб, чтоб потом, перед последним спуском, все же изъять её из его окостеневших пальцев: в могилу иконки уже не опускают.

Я, прощаясь, смотрел на него и увидел очевидное преображение.

Суровое преображение: возможно, он всё продолжал спор, не только со мной?

При жизни черты его были мелкие, очень пропорциональные, аккуратные, соразмерные общему почти птичьему сложению. Можно было ожидать, что они просто заострятся и помельчают еще больше. Вовсе нет! Стали крупнее, рельефнее — подобной строгости, суровости, аскезы я не видал на его лице за все полвека нашей дружбы. Тяжелый лоб высунулся из-под седых прядей, мощные надбровья, плотно сжатые губы — да Володя ли это? На людях вечно тихий, робкий и почти безгласный? Что-то толстовское проглянуло, вылезло в нем. Но не то, что было в его, Толстого, умиротворяющих, примиряющих все и вся последних экзерсисах, а то, что сказалось в старости в самом его матёром облике.

«Волчье» — говорили об этом его позднем лице современники. Так и в тамбовском моем уроженце, в посмертном его обличье при общей хрупкости остального, серым костюмчиком скрытого выпер «тамбовский волк».

Который известно кому, то есть мне, грешному, товарищ.

Сурово, сурово предстанут они друг перед другом. И еще неизвестно, кто перед кем будет держать ответ: двух малых сих, безответных и беззащитных, оставил Владимир здесь, за спиной, в бедности и земной юдоли.

Да, сообразил, Толстого я, разумеется, не видал. А вот Володиного дядьку, Василия, знал неплохо. Шебутной, размашистый старикан, не было на свете ничего сущего, что бы он не мог делать или — переделать. Правда, всё — резко, с размаху, наскорях, не фунгаником, а топором. Не надфилем, а — терпугом. Отважный до сумасбродства, до одури, особенно после известно чего. Ветеран Корейской войны — оказывается, наши подвизались там не только в небе, но и на земле. Рассказывал, как ворвались однажды в банк (прямо по ленинской формуле: почта, телеграф, банк), и он, дядя Вася, оказался по колено в деньгах.

Прямо сугробы, вороха их намело по полам и углам.

— Надо бечь дальше, а я двинуться не могу: сую их за пазуху, в карманы, в мотню, а зачем, и сам не знаю. Они ж не наши, Ленина на них нету, а я как ополоумел...

Ну да, поставь любого русского мужика посреди такого несметья деньжищ, даже без Ленина (ничего другого он прочитать не мог, а вот отсутствие Ильи-

ча заприметил сразу), и враз ополоумеет и куда более трезвый и положительный, чем дядя Вася.

А деньги ему-таки пригодились. Дядя Вася мог, конечно, и подзалить, но под рюмочку однажды признался, что где-то там, аж на полуострове его шальной и шалавой молодости, растёт да, наверное, уже и старится, и его русско-корейское семя. Было, было кому дяде Васе сунуть за пазуху, совсем не столь холостую, как у него самого, эти самые воны или как их там, даже без Ленина. В той войне, как и во всякой другой, наши елозили, выходит, не только по небесам, не только по земле, но и по кой-чему куда более притягательному, безопасному и покладистому.

Давние-давние черты дяди Васи, прокалённые, обожженные, как обжигают даже не горшки, а кирпичи — и такого же, кирпичного, цвета и даже геометрии схожей — и чужой войною и собственной старостью, по-волчьи твердые и суровые, узнал я в друге моем Володе на скромном и смертном его одре. Когда солнечным майским днем прощались мы с ним на окраине огромного подмосковного кладбища с жутковатым, крематорским наименованием *Перепечино* среди неглубоких и наспех вырытых экскаватором могилок.

Гробы, к которым подвозили, подавали с почти что регулярностью московской подземки.

Фамилия у дяди Васи *Мильцын*. Он тоже происходил из екатерининских немцев — на Корейскую, что последовала почти что впритык к германо-японской, уже брали и их...

Насчет корейского романа дядя Вася мог, конечно, и травануть. А вот другой, последний, куда достовернее. В старости работал истопником в одном дряхленьком замоскворецком особнячке в районе Пятницкой. Располагалась там какая-то фирмёшка типа «Гербалайф», которой командовала тоже значительно пожилая (подразумеваю особняк, а не дядю Васю), но весьма дородная, даже не цельная, а цельнолитая мать-командирша. Не знаю, как уж высмотрела она в подвале, да еще и в замурзанном кочегарском ватнике дядю Васю, но у них действительно завязался роман, довольно бурный и громогласный — вечерние отголоски его пронзали «Гербалайф» на все три этажа, аж до самой крыши. Так в последние свои годы дядя Вася в меру ветеранских сил снабжал — снизу — теплом сразу две московские архитектурные достопримечательности: одну каменную, а другую — вовсе нет.

* * *

Уходим. Уходим. Уходим... Пока писал этот кусок, пришло известие из Ставрополя. Умер еще один друг моей молодости: Николай Марьевский. Ари-

Генеральный**директор**

Олег Болдырев

Главный бухгалтер

Людмила Дьячкова

Художественный**редактор**

Татьяна Погудина

Цветоделение**и компьютерная****верстка**

Александр Муравенко

Заведующая
распространением

Ирина Бродянская

Отпечатано

в АО «Красная Звезда»

Россия, 123007, Москва,

Хорошёвское шоссе, 38

тел. +7(499) 762-63-02,

факс +7(495) 941-40-66

e-mail: kz@redstar.ru,

www.redstarprint.ru

Тираж 2 000 экз.

Уч.-изд. л. 8,0.

Заказ № 4165-2017

Адрес редакции:

Россия,

107078, Москва,

Новая Басманская, д. 19

Телефоны**редакции:**

8(499) 261-84-61

отдела распространения:

8(499) 261-95-87

Факс:

8(499) 261-49-29

E-mail:

roman-gazeta-1927@yandex.ru

Сайт:

www.roman-gazeta-1927.ru

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются.

Отклоненные рукописи
сохраняются в течение года.

стократ если и не журналистики в целом, то, как минимум, нашей когдатошней молодёжной редакции. О нём я часто писал в своих книгах и больше всего в этой, в предыдущих ее главах. Один из тех, кто тоже бескорыстно выводил меня когда-то если и не в люди, то просто — в другую жизнь.

Царствие Небесное, вечный покой, как, завершая молитву, очень естественно, тихо и скорбно произносил над открытой могилою Володя Фролов...

Теряю их физически, натурально. За всю свою жизнь не припомню никого из друзей и даже подруг, кто бы предал меня, сдал, отвернулся, забыл окончательно и бесповоротно. Это я бывал и бываю подчас не совсем состоятелен, необязателен в дружбах и привязанностях; они же, друзья мои, даже уходят — лицом ко мне.

Царствие им Небесное. Вечный покой.

P.S. Не только с иконкой уходил Володя на стол, но и с тремя тысячами в кармане. Когда делали первую операцию, я ему передал «на всякий случай» пять тысяч рублей. Врачу понравилось, хотя денежка конечно же плёвая. И перед второй операцией он, врач, намекнул моему дружку: ну, ты и на сей раз приди не с пустыми руками... Володя позвонил мне: мол, у меня наскреблось только три тысячи. Я же был в какой-то очередной запарке и грубо буркнул:

— Скажи ему: как только ты живым слезешь со стола, я либо сам привезу пятёрку, либо с братом пришлю...

И положил трубку.

Увы, живым его со стола уже не сняли.

Мне до сих пор не по себе. Может, вовремя сунь я эту «пятихатку», и наша бесплатная оказалась бы милосерднее к моему безвестному другу?

А так получается, что почти что накликал. Осторожнее будьте к друзьям со словами — судить, самих себя, впоследствии и впрямь придётся не только по делам, но и по словам тоже.

07.01.2016 г. Рождество

СОДЕРЖАНИЕ

Академик Курчатов едет к Лаврентию Берии.....	1
Екатерина Джугашвили встречается с сыном своим Иосифом.....	5
Премьер Георгий Маленков выходит на новую работу.....	9
Фидель Кастро Рус и некоторые другие, чуть менее знаменитые	14
Взлёт и посадка, или 1 мая 1960 года	20
1973. Леонид Брежnev встречается с Вилли Брандтом. А мы за ними наблюдаем.....	28
Ночное происшествие	34
Последняя песня	38
Рубцов и Бродский. Устраиваемся на величественную работу.....	41
Кто будет хоронить Константина Устиновича?.....	49
Уходим. Уходим. Уходим....	55

Начало см. на 2 стр. обложки.

Мы продолжали публиковать практически все последние произведения наших авторов — участников Великой Отечественной. Возможно, и не стоило бы тем особо гордиться: проза о войне всегда была востребована читателями и занимала немалый сектор в книгопродукции СССР, а позднее Российской Федерации. Но, увы, именно «РГ», с куда меньшими тиражами и скучным авторским гонораром, оказалась единственным печатным изданием страны, куда наши героические старики (а порой уже их вдовы) могли принести свои последние страницы.

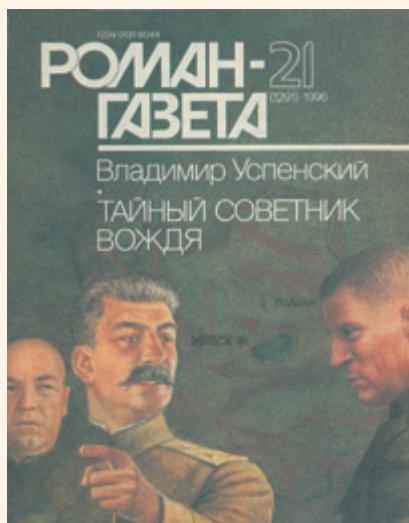
И все-таки мы гордимся, что в дополнение к «Тайному советнику вождя» (печатался в «РГ» без купюр с 1991 по 1998) Владимира Дмитриевича УСПЕНСКОГО (1927–2000) опубликовали его «Отступление после Победы» (№ 22, 99) и «Неизвестные солдаты» (№ 11, 12, 18, 2005). Опубликовали завершающую книгу дилогии М. Н. Алексеева «Мой Сталинград» (№ 7, 98). Почти ежегодно публиковали, в том числе — посмертно, «малую» прозу Е. И. Носова.

Именно в «Роман-газете» была полностью напечатана книга великого русского оружейника

М. Т. Калашникова «От чужого порога до Спасских ворот» (№ 1, 98). Все «перестроечные» произведения В. П. Астафьева («Прокляты и убиты», № 3, 94, № 18, 95; «Весёлый солдат», № 6, 99; «Затеси», № 5, 2002; «Пролётный гусь», № 7, 2005) еще до книжных публикаций попадали нашему подписчику. Пронзительную мудрую прозу-воспоминания напечатал у нас Н. К. Доризо (№ 15, 1999, № 23, 2005)...

Свои полосы журнал и стихам поэтов-фронтовиков: Алексея Фатьянова (сборник «Русской песни запевала», № 13, 2006), Дмитрия Кедрина, Александра Твардовского, Алексея Недогонова, Юлии Друниной, Бориса Слуцкого, Алексея Суркова, Сергея Орлова, Николая Старшина, Михаила Луконина (сборник «Возвращение». № 9, 2010).

Настоящей находкой для нас и последним поклоном защитникам Отечества стал цикл военной прозы Н. Ф. Наумова (романы: «Хроника предвоенных лет», № 18, 2007, «Лето надежд и крушений», № 9, 10, 2008, «Москва — заря студеная», № 19, 20, 2008, «Сталинград. Сражения и судьбы», № 7, 8, 15, 16, 2009, «На рубежах Среднерусья», № 22, 2011).



Светлая память о наших старших товарищах, одаривших нас счастьем сотрудничества, сохраняет коллектив «Роман-газеты».

Уважаемые читатели и подписчики «Роман-газеты»!

В юбилейный год жизни нашего, старейшего литературного журнала России, издательство «Роман-газета» приняло решение собрать воедино, в одном архиве, все наши номера, выпущенные с 1927 года. Обращаемся ко всем хранящим подшивки «Роман-газеты» и готовым безвозмездно передать издательству номера журнала до 1991 года выпуска с просьбой сообщить о такой возможности по нашим телефонам и адресам. Все расходы по доставке журналов в редакцию издательство возьмет на себя. Будем также благодарны за информацию о существовании частных архивов с номерами «Роман-газеты», владельцы которых могли бы предоставить журналы во временное пользование для их сканирования (цифрового копирования).

С уважением и благодарностью, Редколлегия «Роман-газеты»

